Константин Плешаков

Ферма с карасями

ГЛАГОЛ

Константин Плешаков Ферма с карасями

ГЛАГОЛ

45

Константин Плешаков

Ферма с карасями

Плешаков К.
П38 Ферма с карасями. – М.: Глагол, 1998. – 184 с.
ISBN5-87532-036-2

Новую книгу Константина Плешакова составили избранные рассказы писателя, объединенные любовной темой. Герои автора – люди напряженной эмоциональной личной жизни, болезненно переносящие дисгармоничные отношения с окружающими. Несмотря на кажущуюся активность, они бывают рефлексивны и нередко оказываются жертвой ситуации. Некоторые из вошедших в книгу рассказов публиковались в журналах «Новый мир», «Дружба народов», альманахе «Портфель» (Ардис), «Іностранец».

ББК 84Р2

ISBN5-87532-036-2

© К.Плешаков, 1998
© А.Рыбаков, оформление, 1998

Иван Семенович запустил пальцы в бакенбарды, седые и еще роскошные, которые хорошо помнила Европа, и, покачивая туфлей в жару камина, говорил сочным, очень громким голосом:

– ...Дефевр передал запечатанный конверт барону Р...у. В тот же день барон выехал в Трувиль. Императрица купалась. В то время ее приближенной, ее доверенной, ее другом была девица Ламот. Стоило пересечь океан, чтобы взглянуть на купающуюся Ламот.

Секретарь кашлянул. Ртищев, сердито покосившись на него, продолжал вдохновенно:

– Грудь девицы Ламот напоминала два яблока. Точнее - две половинки разрезанного большого лимона. Грудь девицы Ламот заставила корсет того времени опуститься до талии.

– Иван Семенович,– сказал секретарь, – быть может, это мы опустим.

– Вы болван! – сказал Ртищев. – Грудь девицы Ламот стоила нам Севастополя... Итак...

В это время вошел...

Алексей Толстой. Чудаки. Гл.6. 1911

Корнет РОМАНОВИЧ высокими нравственными качествами не обладал, военным делом интересовался мало, к служебным обязанностям относился небрежно, условия жизни в Галлиполи переносил с большим трудом, к занятию должности офицера не подготовлен.

Из Галлиполи корнет РОМАНОВИЧ 21 апреля 1921 г. был уволен в отпуск в г. Константинополь на два месяца, из каковаго не возратился.

Командир офицерского эскадрона 1-го кавалерийского полка полковник Синегуб – генералу Миллеру, 28 октября 1923 года.

Hoover Institution Archives, Miller, Box 17.

ПЕВЕЦ

1

Неожиданно оказавшись снятым с мексиканского рейса вследствие нелепой бюрократической ошибки, модный и сравнительно молодой беллетрист Дмитрий Башкатов, пометавшись в шереметьевском зале вылета и сделав ряд абсолютно бесполезных звонков, вдруг ощутил совершенную и полную свободу.

Впервые в жизни ни один человек на свете, из тех, кто интересовался им, Башкатовым, по любви или в силу злой необходимости, и кому он приходился сыном, мужем, отцом, другом, рабочей лошадью или любовником, не имел сколько-нибудь верного представления о том, где Башкатов в настоящий момент находится. До сих пор такого случая в башкатовской жизни не выдавалось. Купался ли он в Амуре, шастал ли по притонам Ист-Сайда, настукивал ли новый роман на чужой даче в Ивантеевке, закусывал ли креветками в Ялте – но только всегда кто-нибудь да знал башкатовские координаты и в случае острой нужды мог его, Башкатова, достать, а если достать не мог, как, например, было в случае с нью-йоркским Ист-Сайдом, то все равно знал, где Башкатов в это время находится; Башкатов же в силу этого должен был блюсти график звонков или какого-либо иного выхода на связь.

Впрочем, так просто и рационально это чувство полной свободы не объяснялось. Из Мексики Башкатов звонить никому не собирался, контачить с общими знакомыми не был намерен и,

таким образом, даже попав на злосчастный рейс в Мехико-Сити, оставался бы для всех в полной недосягаемости и отчасти как бы вообще в неизвестности. Те немногие люди, которые интересовались Башкатовым постоянно, знали бы просто, что в настоящий момент он шляется где-то на Юкатане, совсем один, и, может быть, даже справились бы по карте, где находится эта самая Мексика – очень далеко или еще дальше. Следовательно, восхитительное чувство свободы объяснялось даже не тем, что никто не мог Башкатова отыскать, а тем, что все имели совершенно превратное представление о том, где он мог пребывать и чем должен был сейчас заниматься.

Это чувство сначала позабавило, а затем очаровало его. В принципе он мог помчаться в город и попытаться похлопотать, с тем, чтобы улететь завтра или послезавтра. Но Башкатов сказал себе, что суетиться не станет и что, более того, ни к кому из друзей – не говоря уж о семье – не поедет.

Вместо этого он взял машину и велел везти себя в район захудалых гостиниц у бывшей ВДНХ, где мог снять номер не сильно дороже, чем в ухнувшей в зеро Мексике.

Развалившись на заднем сиденье черной бархатной, какой-то шмельной машины и покуривая, Башкатов первое время бессмысленно и абсолютно счастливо улыбался июльским рощам, воображая себе невесть что. Но потом, когда черный бархатный шмель влетел в серую Москву-попрошайку, Башкатов вдруг разом как бы протрезвел, помрачнел, уронил пепел на колени и услышал свою привычную старую мысль, ясную, как голос горниста, трубящего отступление. Мысль была о том, что в этой жизни не осталось ничего, кроме дорогих вещей, быстрой езды, легкого хмеля и мокрых мужских затылков.

2

Зло распихивая вещи по тесному канцелярскому номеру, Башкатов шептал:«Зеро...зеро...» и с привычной ненавистью кидал взгляды в окно.

На Юкатане он намерен был не только гулять, но и строчить в книжку заметки для замысленного романа, который должен был

начаться у таможенной стойки Шереметьева, а затем перескочить через океан и помчаться, заваливая крутые виражи, по долинам и по взгорьям Мексики. Башкатов издавал по три авантюрных романа в год, неизменно о русских бандитах, и столь же неизменно помещая действие в какую-нибудь веселую страну, в которой перед этим проводил неделю или две. Нескончаемый башкатовский сериал приглянулся даже паре знаменитых московских критиков, писавших еще о Шолохове, а теперь вечно изумленных и сильно поглупевших, и они назвали Башкатова московским Грэмом Грином.

Теперь же юкатанский роман летел к чертям, а вместе с ним и литературный конвейер, фабриковавший деньги и известность, а, следовательно, и вещи, и езду, и хмель, и все прочее.

Башкатов присел на кровать и стал размышлять, стоит ли переодеться, намазать волосы гелем и поехать на Тверскую или лучше все же пристроиться к мерзкому столу, разместить роман в знакомой Чехии и начать с отвращением выводить нечто вроде: «Единственное, что беспокоило отставного генерала КГБ, так это потертый портфель дорогой серой кожи, который не позднее чем через пару мгновений должен был предстать перед таможенником в рентгеновских лучах».

Неожиданно Башкатову пришло в голову, что дорогие портфели, как правило, серыми не бывают. Тут же явилась и другая мысль: интрига нового романа может быть как-то связана именно что с необычным цветом дорогого портфеля. Башкатов присел к столу и быстро написал на случайном клочке бумаги: «Серый портфель. Роман» и жирно подчеркнул написанное. После этого он минут на пять задумался, а потом злобно кинул ручку и метнулся в ванную. Там он стал спешно бриться, бормоча под нос полную ерунду, и вообще всячески собираться.

Когда Башкатов, чистый и красивый, спешил по гостиничному коридору к выходу, вдруг поменяв все планы и уже отправляясь на Тверскую, в коридоре раздался вопль.

Башкатов инстинктивно замер.

Вопль повторился.

Ни обслуга, ни постояльцы на шум не спешили.

Вопль перешел в низкий визг, как будто страдала огромная зашибленная собака.

Весьма нерешительно Башкатов приблизился к двери, из-за которой шел визг, и постучал.

Ответа не было. Визг, впрочем, смолк.

Башкатов дернул дверь, та с подлой легкостью распахнулась, и Башкатову открылась картина вполне омерзительная.

На полу подле огромного телевизора, уткнув лицо в грязный ковер, лежал патлатый, судя по шее, – молодой – человек в какой-то дикой рубашке с кобальтовыми блестками. Человек лягнул воздух, вцепился в ковер и испустил тот самый гадкий визг, на который Башкатов и клюнул.

– Эй ты, – сказал Башкатов достаточно злобно, – сейчас в окно выкину!

Тут у молодого человека в руках откуда ни возьмись оказался вычурный стилет, и он, так и не отрывая лица от ковра, стал молча пилить себе левое запястье.

Башкатов сделал нерешительный шаг вперед, но молодой человек молниеносно приподнялся и, звучно лязгнув зубами, попытался укусить Башкатова за ботинок.

Проделав этот демарш, он снова лег и принялся меланхолично водить стилетом по руке дальше.

Разъяренный Башкатов схватил валявшееся на стуле полотенце и хлестнул парня по голове, как хлестнул бы неуживчивую гадюку в лесу.

Гадина в черном на удар никак не отвечала. Башкатов уже начал поворачиваться, чтобы покинуть поле бесславного боя, как вдруг увидел, что из руки гадины потекла кровь.

Башкатов с силой хватил себя кулаком по лбу: угораздило же! Сел на корточки, отвернул себе манжеты и скомандовал гадине:

– Подымайся, бинтовать буду.

Гадина поднялась, задумчиво глядя на кровоточащую руку. За патлами обозначилось невразумительное лицо пьяного валета пик. «Нестор Махно!» – почему-то подумал Башкатов.

Махно не сопротивлялся. Перевязанный и уложенный на кровать в ожидании «скорой», он глядел на Башкатова в упор маленькими карими глазками и молчал.

– Чтоб ты пропал,– сказал Башкатов и ушел в ванную мыть руки.

Молодой человек гадко засмеялся:

– Дык, ты же рад до одури.

Башкатов не поверил своим ушам.

– Что?! – переспросил он, выглядывая из ванной.

– Спасайте Колю-Бергамота, спасайте, – бормотал Махно. – Спасайте, благодарные зрители! – вдруг выкрикнул он с силой.

– Дурак, повязка спадет, – сказал Башкатов. – Хоть ты там бергамот, хоть абрикос, а дурак. В морг поедешь.

– Я Коля, я Коля, я Коля-Бергамот! – не унимался Махно, с каким-то ужасом глядя на Башкатова.

Башкатов пожал плечами и вытер руки о собственную рубашку.

– Ты что, Колю-Бергамота не знаешь? – спросил Махно придушенно.

– Мало ли вас, бандитов, по Москве ходит,– хмуро отвечал Башкатов.

– Я певец! – крикнул больной.

– А мне-то что, – пожал плечами Башкатов.

– Меня *все* знают! Я у Пугачевой бываю! Я в Дрездене петь буду!

– Вот в Дрездене и пой, – сказал Башкатов, закуривая.

– Я не просто певец, – крикнул больной в отчаянии.– Я музыкант!

– Э-э, – сказал расстроенный Башкатов и бросил сигарету в унитаз. – Эту историю мы уже проходили, – пробормотал он и погрустнел.

История же была вот какая.

3

Башкатов покатил в Питер по делу интересному, кропотливому и муторному. Он строчил роман о том, как Советы замыслили построить подземную базу для подлодок в далекой белой Антарктиде, да так и не построили из-за одного решительного брюнета. О подлодках Башкатов не знал ровно ничего, как, впрочем, и об Антарктиде, но Антарктиду было отчего-то легко при-

думать, а подлодки – нет. Так и состроилась поездка в Питер, где Башкатову обещали несколько встреч.

На шестой день поездки (дальнейшие обстоятельства сложились таким образом, что забыть этот день оказалось потом никак нельзя) Башкатов вышел из здания морского архива совершенно ошалевший. Не хотелось ни есть, ни пить, ни спать, а только лишь как-то бессмысленно слоняться. Башкатов побрел в сторону Летнего сада.

Стояла неопределенная погода самого позднего лета, когда не поймешь, то ли подставлять лицо последнему солнцу, то ли укрываться от первого ветра. Летний сад оказался пуст, скучен, зелен. Статуи были словно трачены особой каменной молью и вообще поражали неким общим генетическим уродством.

Откуда-то доносились звуки клавесина. Башкатов вздохнул: такой ненужной показалась ему еще одна декорация Питера, но от общей тоски на звук все же пошел.

На поляне у белого павильона стоял мальчик лет двадцати трех и постукивал палочками по несомненно самодельному инструменту, который, вполне возможно, и не был никаким клавесином. Серебристые трубочки, скорее, напоминали орган. Башкатов плохо представлял себе как клавесин, так равно и орган. Сев на скамейку, он стал смотреть и слушать.

На земле перед мальчиком стоял картонный ящик, в котором ворошились мелкие купюры. Музыкант кутался в толстый пиджак и прятал подбородок в ворот крестьянского свитера. Лицо его было очень странно: глаза были так малы и так глубоко посажены, что придавали ему вид слепого. Темные волосы торчали в разные стороны, как лучи солнца на детских рисунках.

Сам ежась на холодке, Башкатов смотрел то в хрустальное питерское небо, то на кроны лип, то на музыканта. Приходили и уходили мамы с детьми, неплатежеспособные старушки, гуси-иностранцы. Башкатов несколько раз поднимался со скамьи и совал в музыкантов ящик деньги. Так продолжалось до седьмого часа вечера. Поляна давно уже была пуста. Мальчик доиграл что-то, взглянул на Башкатова исподлобья и сказал:

– Извините, я закончил.

– На сегодня? – уточнил Башкатов.

– На сегодня, – безучастно подтвердил мальчик и, краснея, стал выгребать деньги из ящика.

– В котором часу вы начинаете играть? – вежливо поинтересовался Башкатов.

– В час дня, – сказал мальчик и, не глядя на Башкатова, принялся разбирать инструмент.

Роман о подлодках и Антарктиде так и не был написан, Башкатов застрял в Питере на месяц и даже ходил с женой молодого музыканта в Мариинку, а потом стал приезжать в Питер каждую субботу. Как-то к концу зимы музыкант, алея, сказал, что снял новую квартиру и что ни адреса, ни телефона Башкатову не даст.

С исчезновением музыканта все словно покатилось под горку. Башкатов уехал в Копенгаген – собирать материал для романа «Не бросай золото в канал», и до того дособирался, что едва не был бит во втором часу ночи в баре для проституток на Истедгате, застудил простату и, что было хуже всего, вконец издержался. Печальное обстоятельство это обнаружилось при расплате в гостинице, где Башкатов списывал все беспечно «на ключ»: и дурные телефонные звонки в Москву, и поздние ужины, и выпивку среди ночи, и завтраки в постель.

В аэропорту на буквально последние деньги он купил одеколон «Инсенс» с запахом волжского арбуза и утешился тем, что всего десять лет назад миллионы советских мужчин, включая его, Башкатова, употребляли только «Флорену», да и теперь лишь человек пятьсот в России имели на туалетной полочке «Инсенс», потому что «Инсенс» был не только дорогой, но и редкий и Живанши предлагал другие, расхожие, флаконы.

Вскоре деньги как-то восстановились, но музыку Башкатов слушать все равно не мог, поэтому, наверно, и пропустил появление этого самого новомодного певца, который сейчас скулил на кровати.

Приехавшая «скорая» певца, напротив, узнала.

– Бергамот! – радостно завопил санитар. – Опять запил!

Врач неодобрительно дернул ртом, но тоже признал.

– Он что, действительно такой знаменитый? – спросил Башкатов угрюмо.

Санитар изумленно присвистнул. Врач покосился на Башкатова:

– А вы ему кто, собственно, будете?

– Прохожий, – сказал Башкатов и вышел из номера.

4

Самым трудным делом оказалось найти певцу телохранителя, который таскался бы за ним повсюду и не давал пить. Башкатов промучился два месяца, злобной тенью следуя за певцом, и под конец совсем изнемог. И тут подвернулся Шерпа.

Шерпа был здоровый бугай лет тридцати, с низким лбом, глазками анаконды и ее же удавительной силой. Он не то сидел в тюрьме, не то работал в КГБ, и все говорили в один голос, что на Шерпу можно положиться.

Шерпа не любил ни певца, ни его песни. Однако ему хорошо платили, а к Башкатову он даже привязался. В компаниях Шерпа сидел в темном углу и угрюмо глядел за певцом. Когда же к концу вечера являлся Башкатов, Шерпа как-то тупо оживлялся, криво ухмылялся и игриво поводил шеей, как глупый жеребенок-переросток, ласкающийся ко взрослому коню.

Башкатов же Шерпу не любил. Сколько ни общался Башкатов с бандитами, а все-таки его неприятно настораживало ежечасное присутствие Шерпы, как будто в руке сидел полезный, но совершенно непонятный зеленый гад. Он был с Шерпой ровен, часто кидал ему шуточки-прибауточки, и тот бросался на них, как голодный пес. В основном Башкатову было, конечно, не до Шерпы.

«Есенин с микрофоном», как пресса окрестила певца, первое время вертелся в объятиях Башкатова как уж, совался всюду, где только светила возможность расслабиться и надраться без башкатовского присмотра, но Башкатов переломил, пересилил. Певец заявил, что завязал, и на гала-концерте с удовольствием разбил рюмку с водкой на глазах у взволновавшейся публики.

Однако борьба с певцом была так изнурительна, что Башкатову долгое время все было как бы и не особенно в радость. Он перевез его из логова на Беговой в квартиру своей матери на окраине. То, что певец жил теперь в маленькой квартирке с Башкатовым и его мамой, смаковала вся свободная московская пресса. Бывшая жена Башкатова из любопытства и тщеславия певца тоже принимала. Как-то репортер с фотоаппаратом застукал всех Башкатовых с певцом и опубликовал снимок «Большая семья Бергамота».

Мать к певцу относилась поначалу примерно так же, как Башкатов к Шерпе. По ее глазам было видно, что она все время боится. Но, как ни странно, певец все же добился ее расположения – разумеется, не своей славой и хвастовством, а тем, что по утрам, причитая, готовил на всех яичницу, а по воскресеньям стряпал что-нибудь особенное, демонстративно подкладывая Башкатову лучшие куски. Башкатов улыбался и ел, а чувство неловкости все не проходило и не проходило.

Новый год они встречали в чрезвычайно элитарной компании, настолько шикарной, что репортеры телевидения дежурили у входа. Певец радостно поведал им, что Новый год надо встречать с теми, кого любишь, и обнял башкатовскую маму и самого Башкатова. Башкатовская мама неожиданно светски произнесла, что выпьет в полночь за любовь, и только Башкатов глупо улыбнулся по-волчьи и ничего не сказал.

Через несколько дней после Нового года Башкатов пошел стричься. Процедуру эту он очень не любил. «Инсенс» или не «Инсенс», но только из зеркала на него уже давно пялилась старая баба.

Стояла оттепель. В парикмахерской было жарко и влажно, как в оранжерее. Башкатов думал о том, о чем думал все последнее время – о певце.

– Закончено, – объявил манерный парикмахер Боря и широким жестом сдернул простыню. Башкатов посмотрел в зеркало и засмеялся. Вместо старой бабы на него смотрел парижский гарсон с выбритыми висками, бодливым лбом и нахальными синими глазами. Зеркало вдруг ушло в какие-то глупые счаст-

ливые дали.

– Что-нибудь не так? – обиженно надул губы Боря.

Башкатов откинулся в кресле и в знак полного и совершенного восторга покрутил головой, будто освобождаясь от тугого воротника.

– Все очень даже так, Боря, – сказал он.

Боря ласково вздохнул:

– Я ворон не считаю.

На улице все было темно-синее, набухшее, талое, нахмурившееся, как подросток.

Башкатов снял шарф, сунул в карман и широким шагом стал подниматься по Камергерскому переулку.

Вскоре у певца появился сногсшибательный шлягер на башкатовский текст: «Вези меня, Харон, и не считай ворон», который немедленно стал хитом.

Перед гала-концертом в «Олимпийском» певец уведомил Башкатова, что его ждет «оч-чень большой сюрприз».

Когда Башкатов спрашивал, что это будет за сюрприз, певец только весьма таинственно улыбался и почему-то подносил палец к губам.

Шла уже середина программы, публика вошла в раж. Вдруг певец тряхнул волосами и, глядя в глаза Башкатову, грянул марш Пугачевой двадцатилетней давности. Когда певец дошел до строк, что вот маэстро сидит в зале перед ним – «и тот же зал, и тот же ряд, и то же место!», на Башкатова стали оборачиваться. А потом певец бросил ему на колени букет роз, и к Башкатову кинулись фанаты и стали рвать букет на части. Башкатов не отбивался. Он откинулся в кресле и почти плакал.

Вскоре после этого они уехали на весенние озера, и хотя певец тайком сшил себе есенинскую рубашку и, печально шевеля губами, надменно смотрел в небо, жизнь была невыносимо хороша и лучшей уже не хотелось.

5

Как приятно стало наряжать певца перед концертом и с ним вместе ждать машину. Потом ехать на заднем сиденье, наблюдая, как певец в страхе грызет ногти, идти в зал... Певец решил купить цветные контактные линзы, чтобы добиться есенинской синеокости, и отчасти завидуя Майклу Джексону, который вообще сменил кожу. Башкатов не спорил. Все шло как нельзя лучше. Предстояли шумные гастроли в Питере, после которых одна немецкая фирма собиралась записывать диск и, следовательно, предлагать певца миру. Певец очень волновался.

– Ты не понимаешь, – говорил он, нервничая до слез,– мировая слава. Понимаешь, слава. Мировая.

И шел в сердцах накачиваться персиковым соком.

Как-то раз вышла смешная неприятность с Шерпой.

Поехали за город. Певцу до зарезу понадобилось посмотреть на васильки. Ездили долго и нудно, наконец, выехали на серое поле, поросшее всякой дрянью, в которой тем не менее цвели и васильки, и цикорий. Певец недовольно сказал, что он-де хотел видеть васильки во ржи или в чем там они еще водятся, но делать было нечего. Певец уселся на землю и строгим голосом попросил ему не мешать. Башкатов с Шерпой пошли через поле в рощицу, где бежала узкая речка. Берега были илистые, неприятные. Башкатов лег на землю и задумался. Шерпа куда-то сгинул.

Мысль Башкатова лениво путешествовала между воспитанием детей и наймом дачи, когда он вдруг услышал, как сзади хрустнул песок. Башкатов оглянулся и увидел Шерпу.

Шерпа стоял в одних черных хлопковых плавках, и рельеф этих плавок Башкатову до крайности не понравился.

– Ты что, Шерпа? – миролюбиво спросил Башкатов, мельком оценивая его зловеще набыченное тело и не глядя ему в лицо, которое, как он заметил вполглаза, было страшно: Шерпа облизывался, таращил глаза и хватал губами воздух.

Не получив ответа, Башкатов отвернулся и стал растерянно теребить какую-то веточку.

– Повернись! – вдруг сказал из-за спины Шерпа голосом Вия, и так тяжел и темен был этот голос, что Башкатов не посмел ослушаться.

Черные плавки слетали с ног Шерпы, как чешуя с тела дракона, Башкатов слышал запах свежего пота, ему даже почудилось, что до него дошел сильный жар. На мгновение ему показалось, что Шерпу уже не остановить, и он так испугался этой мысли, что невольно среагировал правильно: нервно засмеялся.

Шерпа, машинально перешагивая через черную чешую, посмотрел на Башкатова с каким-то ужасом, и Башкатов, осознав, что спасет его только смех, принялся повизгивать в натужном театральном хохоте, как трагедийный актер, взятый на комическую роль.

Шерпа смотрел на него несколько мгновений, а потом, как был, понесся, сопя, в рощу, ломая кусты. Там он остановился так, что Башкатов мог его видеть, с отчаянием смертника растянул плечи... Но Башкатов быстро отвернулся, вскочил и зашагал прочь.

Когда они все собрались у машины минут через тридцать, Башкатов вдруг заметил на белой штанине Шерпы маленькое кровавое пятно.

– Йоду дать? – спросил он машинально, даже не задумываясь о том, где бы сейчас стал брать йод.

– Не надо, – мрачно буркнул Шерпа и полез в машину.

– Где это ты? – невинно удивился певец.

– Кусты, – лаконично отвечал Шерпа, бережно размещая ноги под сиденьем.

– Так ты что ж, по ним голый бегал, что ли? – сварливо возмутился певец.

– Летал я, – сказал вдруг Шерпа решительно и глубоко вздохнул, так что сдул листок бумаги на пол.

Башкатов усмехнулся себе под нос. На другой день он сказал Шерпе, что хочет выдать ему премию, и подарил хорошую кожаную куртку.

– Ага, – только и ответил Шерпа, уставившись в пол.

6

Через пять дней после поездки за васильками, двадцать третьего августа (он хорошо запомнил число), Башкатов появился в «Марко Поло», когда прием уже начался. Не успев притворить за собой тяжелую дверь, Башкатов понял, что вместо приема шел скандал. Певец орал что-то нечленораздельное, вокруг него с возбужденно-злорадными улыбками стояли человек пять, остальные гости, опасаясь несчастного случая, поспешно размазались по стенам.

Широким шагом Башкатов быстро пересек зал.

Певец был абсолютно пьян. Улыбавшимися оказались журналист из газеты для мужчин, всегда писавший о певце гадости и приглашенный на прием с тем, чтобы его задобрить, молоденькая кафешантанная певичка, проникавшая на любую дорогую пьянку, писатель из Польши и два вечных конкурента певца – Шерман и Лославский. Певец размахивал стаканом с виски и читал Есенина.

Башкатов крепко схватил его за плечи и повернул к себе.

Оказавшись лицом к лицу с Башкатовым, певец сник, странно уменьшился в размерах, как сдутый воздушный шарик, и задрожал мелкой собачьей дрожью. Потом он обнял Башкатова за шею и, хныча, повис на нем. Певец был нелегок, и Башкатов покачнулся. Певичка захихикала.

С ненавистью оглянувшись вокруг, Башкатов кивнул Шерпе. Тот вразвалочку пошел через зал, почему-то застегивая на ходу пиджак.

– Кто дал ему напиться? – спросил Башкатов сквозь зубы.

Шерпа было забубнил что-то, но Башкатов злобно его оборвал:

– А ты на что поставлен?

– А он сам...

– Прихлебала, – сказал Башкатов медленно. – Я тебя рассчитаю. Повели.

И тут Шерпа отмочил такое, от чего Башкатов, как ни был расстроен, даже струхнул: он хихикнул и нагло посмотрел Баш-

катову прямо в глаза. Потом бережно взял певца под руку, и они поковыляли к выходу.

Конкурент Шерман, не скрывая ликования, посоветовал:

– В туалет его отведите. Ему сейчас облегчиться надо.

Лославский поддакнул:

– Водочка погулять просится.

По улыбающейся группе прошел веселый смешок.

В туалете певец надрывно рыдал над раковиной.

Шерпа закурил.

– Вот, собственно, – сказал он медленно и решительно, – сначала вы смеялись, а теперь мы посмеемся.

Отправил одним щелчком окурок на пол, рыбьим глазом оглядел Башкатова и хлопнул дверью.

– Ты не ругайся, – плаксиво загнусил певец. – Это он, он. Знает, что мне нельзя, а сам наливает, да–а...

У Башкатова потемнело в глазах, он выскочил в коридор, но Шерпы, конечно, нигде не было видно.

Тут Башкатов услышал, как за закрытыми дверями зала Лославский, наигрывая на пианино, поет матерные частушки.

Скинув погубленный певцом пиджак, Башкатов ворвался в зал и крикнул официанту:

– Убирай все к чертовой матери! Чтоб через десять минут здесь никого не было.

Кафешантанная певичка злобно зашипела, не выпуская из мелкой пасти бутерброда.

Зазвякали стаканы. Публика зашумела. Лославский допил, вытер губы, масляным глазом взглянул искоса на Башкатова, ударил по клавишам и заорал:

Мы с миленком у метра
миловались до утра.
Миловались бы ишшо,
да болит влагалишшо.

Башкатов с размаху ударил его ладонью по губам.

Кто-то закричал. Лославский, серый и трясущийся, понес какую-то околесицу.

– Шерпу не видали? – стал спрашивать Башкатов у всех.

7

В квартире башкатовской матери певцу снова стало плохо. Башкатов чуть не пинками загнал его в кровать, велел матери закрыться в ее комнате и выходить только в случае пожара и принялся певца откачивать.

Певец буянил, требовал немедленного экстремального секса, говорил о ненависти, нежности и музыке. Только в десятом часу вечера он заснул.

Башкатов попил с матерью чай, наказал ей не переживать и тоже пошел спать. В комнате стоял безмерно гадкий дух. Певец пах, как разлагающийся дракон.

Во сне Башкатов плакал, искал певца, но все время попадал в красноватую рыбную лавку, где старый китаец пытался всучить ему молотый перец. Перец сыпался за шиворот, было жарко, Башкатов вертелся во сне.

Наутро он проснулся с головной болью, насморком и саднящим горлом. Певца в постели не было. Тут Башкатов услышал звук, от которого екнуло сердце: звяканье посуды. Певец сидел у стола спиной к Башкатову и как-то мерзко причавкивал. Ни минуты не сомневаясь в том, что именно сейчас происходит, Башкатов метнулся к столу.

– А я закусываю, – сказал певец мирно и потянулся к грязному стакану с коньяком.

8

Так или примерно так все продолжалось три с половиной месяца. Башкатовская мать возненавидела певца. Башкатов был готов его убить и стал принимать седативное. Но что было самое страшное, телефонные звонки быстро пошли на убыль.

Тот самый журналист подробно описал скандал в «Марко Поло» в своей газете для мужчин, назвав певца «нашей хрупкой радостью», а Башкатова «рыцарем без страха и упрека» и «всадником без головы». Лославский несколько дней обещал подать в суд. Башкатовский издатель, морщась, сказал:

– Ну, это ты уже перебарщиваешь.

Глянцевый журнал опубликовал на обложке коллаж: Башкатов и певец в окружении веревок, мостов и пистолетов. Заголовок вопрошал: «Повесится ли Бергамот?» В статье утверждалось, что «Есенин с микрофоном уверенно едет в «Англетер».

Но вот шум затих, и певца стали *забывать*. Отпали гастроли в Питере, что было само по себе очень плохо. После того как поездка в Питер отменилась, берлинская контора сухо уведомила, что с выпуском диска придется неопределенное время повременить. В Москве каждую неделю появлялось по две новые звезды, и каникулы певца могли оказаться фатальными.

Шерпу Башкатов так и не нашел. Никто не знал, куда он девался. Решили, что он уехал на Кипр, потому что иногда по пьяни бормотал, мол, «солнышка хочется».

Певец пропадал. В минуты трезвости он сетовал на неблагодарность публики и импрессарио и тосковал по коммунистам:

– Конечно, Пугачевой легче было.

Потом стали кончаться деньги. Доктор, у которого Башкатов без особого успеха лечил певца, был очень и очень дорогой. Прописанная для очищения организма фруктовая диета зимой оказалась накладной. Поездка в Таллин, во время которой певец исчез и только через полтора суток был возвращен Башкатову в бессознательном состоянии улыбающейся эстонской полицией, встала в копеечку.

Певцу Башкатов не давал денег давно. Это не помогало. Запирать его в квартире с матерью было нельзя. Певец обещал утопиться в ванной, и доктор задумчиво сказал: «Лучше не рисковать». В квартире певца на Беговой оставлять его одного тоже было невозможно. Словом, как ни старался Башкатов, а певец все равно напивался. Выпить с ним многие до сих пор почитали за честь. До Башкатова доходили слухи, что певец, как только его похитят, поет по квартирам за деньги.

Почти пятую часть времени певец был пьян, остальные четыре пятых приходил в себя, и никакого толкового разговора не получалось. Сначала с ним сделалось пьяное половое бешенство, потом органы чувств певца на раздражение реагировать

перестали и он совсем озверел.

Доктор предложил поместить его в больницу. Но Башкатов очень даже хорошо представлял себе предстоящий кошмар в больнице и отказался наотрез.

А потом вдруг все стало лучше.

Лечение помогло. Певец пить перестал, был ласков и тих. Но Башкатов ничего не мог с собой поделать: нудные рассуждения певца о том, что пил он исключительно из-за разбитой жизни и атмосферы всеобщей ненависти, выводили Башкатова из себя, пожалуй, не меньше, чем водка. Певец смертельно обижался, угрюмо замыкался и лежал на кровати, глядя в потолок. Часто обиженным голосом он предлагал Башкатову разъехаться.

Возвращение на сцену не подвигалось никак. Певец отказывался. Со страхом он говорил, что ему «не поется». Тут уж ни доктор, ни Башкатов ничего поделать не могли.

Так прошел год. О певце забыли. Башкатов барахтался со своими романами, но денег получал до смешного мало. Певец не делал вообще ничего, говорил, что не может жить у Башкатова на шее, вытирал слезы и отправлялся обратно на удобную кровать. Поднимался он только чтобы поесть.

– Не могу! – кричал он в бешенстве, когда вдруг решили ехать на озера, а потом выяснилось, что денег нету. – Не могу! За что нам это все?

Башкатов уныло молчал.

На тринадцатый месяц несчастья певец вдруг однажды застенчиво подошел к пианино и погладил клавиши.

– Ты сегодня никуда не уходишь? – спросил он Башкатова склочным голосом.

– Нет,– сказал Башкатов, ничего не поняв.

– Жаль,– сказал певец с ненавистью.– Я хотел поиграть. Да видно, не судьба.

Через три месяца при полупустом зале он спел новый шлягер на слова Есенина: «Никогда я не был на Босфоре». Следующий концерт прошел ослепительно хорошо, а дальше вообще начался аншлаг. А еще через две недели Башкатов, приехав на Беговую, обнаружил, что изнутри в замке торчит ключ.

– Разве ты сегодня не у мамы? – спросил певец недовольно. – У меня гости.

– Ну знаешь, – возмутился Башкатов, пролезая мимо певца в прихожую.

Тут глаза певца наполнились слезами, и он бешено заорал:

– Везде хозяин, да? Да?! А мне дышать-то можно? Можно?! Командир, эй, командир?! – и он стал напирать на Башкатова хилой грудью.

– Можно, – сказал Башкатов тихо, краем глаза видя, что в комнате кто-то неторопливо одевается.

– Уходи, – сказал певец, проследив за башкатовским глазом и испугавшись. – Уходи!

И он легонько толкнул Башкатова.

– Стоп, – сказал Башкатов. – Выйдем на лестницу.

– Это самое, – вдруг забубнил низкий мужской голос из комнаты, – ты ему все скажи, Бергамот. Ты ему скажи, что он полковник.

– Что?! – изумился Башкатов.

И тут из комнаты вышел Шерпа, застегивающийся на ходу.

– Полковник ты, – сказал он скучно, глядя в угол. – Полковник. Просто полковник.

– Какой полковник?! – почти простонал Башкатов.

– А такой, – сказал Шерпа со вздохом. – Ты не поймешь. Вы же все в армии не служили. Полковник. Полкаш, – заключил он.

– Как Кипр? – спросил Башкатов, слегка приходя в себя.

– А че Кипр? – пожал плечищами Шерпа. – Че это все взяли, что я на Кипре? Во здорово, – бормотал он, – все думают, что я на Кипре, а я на самом деле на речке сижу.

– И что ты там делаешь?

– Трусы стираю и жопы рву, – ухмыльнулся Шерпа.

Башкатов стал ломать ручку двери, не соображая, что тычется не в ту сторону.

– Торопится, – сказал Шерпа почти весело. – Па-алкаш!

Певец засмеялся сквозь слезы.

– Иди-иди, – легкомысленно сказал он Башкатову. – Запью – вызову.

На улице Башкатов долго тупо пинал ногой что-то недоеденное. Он походил под окнами певца, но ничего не высмотрел – эти окна глядели так же бессмысленно, как и все остальные. Потом Башкатова словно огрели по голове, и он будто проснулся. Ему страстно захотелось несколько вещей сразу. Ему захотелось купить новый шарф в Пассаже, постричься на Кузнецком, сменить часы и выпить водки в «Трех обезьянах». Но больше всего ему хотелось мчаться куда-то, и чтобы мимо мелькало что-то безумно красивое, и чтобы никто не ждал ни на одной станции, но чтобы на любой можно было сойти.

– В центр! – твердо скомандовал он водителю остановившихся «Жигулей». Он механически поискал слова, чтобы описать последнюю встречу с певцом, а потом стал думать, с кем же на самом деле была встреча – с певцом или с Шерпой, наконец вспомнил, что надо же забрать вещи, и его обильное барахло, подвергавшееся в этот момент риску быть поруганным или даже глумливо уничтоженным, вдруг показалось ему так мило, что он чуть не приказал водителю повернуть назад. Но он катил себе дальше и твердил, что в мире и не может быть ничего стоящего, кроме дорогих вещей, быстрой езды, легкого хмеля и мокрых мужских затылков. Потом ему пришла в голову мысль, что пора бросить все и, как Рембо, открыть лавку с колониальным товаром. Но последняя мысль была настолько невыносимо литературна, что он состроил гримасу и со всего размаху так вдарил по пепельнице, что ушиб руку. На ладони выступила кровь, и вдруг Башкатов с ужасающей отчетливостью вспомнил кровавое пятно на штанине Шерпы, когда они ездили в поля, за васильками.

1996

ТРИ ОШИБКИ ОЛЬГИ РИТЦ

Я, Ольга Ритц, рожденная в Москве от смертных родителей в лето от Рождества Господня 1959-е, тридцать семь лет спустя свидетельствую: возомнив себя божеством и вознесясь над миром выше чем гора Синай, зря дали божественного миртового цвета, небеса цвета брюха форели и землю цвета лица Деметры, рассудила, что мужчина, рожденный, как и я, от смертных родителей, мне подвластен... а, может быть, небеса были цвета акульего плавника, дали – цвета формы генерала Самсонова, застрелившегося в Восточной Пруссии, а земля – цвета безбожья... возможно, небо было серым, дали – черны, а земля – бледна... но только мужчина, рожденный от смертных родителей, все-таки был... Максим... Я вымолвила имя... что значит вымолвила... сказала... прокричала даже... Как я кричала Лили по телефону – не то Лили, не то просто в венериански-холодную островную ночь:«Лили, Лили – Максим, Максим...»

Первую ошибку я совершила, когда позволила Максиму смотреть, как я крашусь. Никто и никогда от самого сотворения мира не позволял мужчине такого. Оттого они и выдумали искусство, раздразненные и даже распаленные нашим тайным жреческим гримерством. Максим сидел рядом со мной у зеркала, смотрел внимательно и всякий раз вдумчиво спрашивал:«А это что? А это? А зачем?» Я отвечала. Таким образом Максим узнал обо мне все.

Слова, которые мы говорим мужчинам, письма, которые мы им пишем, даже револьверы, из которых мы иногда в них стреляем, свидетельствуют за нас или против нас так же мало, как наши родители. Но то, как мы красим ресницы, глаза и брови, как накладываем нечто на щеки, лоб, подбородок и нос, – это обнажает каждую из нас до последней косточки. И если мужчина подсмотрит за нашим таинством, он познает нас, что нам смертельно. Я уверена, что царица Савская бросала таких подсмотрщиков в садок с муренами и что даже Суламифь – нежная Суламифь – била царя Соломона по обвислым щекам, когда тот подбирался по утрам к ее зеркалу.

Итак, Максим знал обо мне все. Я же знала о нем немногое. Я знала, что он вял, но цепок, не очень умен, но проницателен, ленив, но удачлив, так же слаб душой, как силен всеми имевшимися у него мускулами и, в частности, пресловутыми пещеристыми телами. Пещеристые тела его наполнялись кровью с ошеломительной быстротой, он был всегда или почти всегда *готов*, ему всегда *хотелось*, и он был даже немного знаменит этим в нашем кругу. Я и мои подруги знали и другое: Максим в этом деле туп, как его сучок, и чтобы испытать с ним оргазм, надо было либо нанюхаться дури, либо перед этим не подпускать к себе никого месяца два.

Бизнесмен из него был хреновый, и брал он не горлом, не кулаком, не пушкой, не связями и не мозгами, а одной лишь удачей. Это был золотой мальчик тридцати лет с маленькой пэмеиному головой, а от шеи вниз – самый настоящий ковбой. Его любили. Он нравился. С ним хотели трахаться. Пить. Трепаться. Иметь дело. Начинать рисковые предприятия. Жить.

Но кто бы с ним ни трахался, ни пил, ни трепался и ни сочетал капиталы, жила с ним одна *я*.

И когда, ко всеобщей зависти, я начала с ним жить, я совершила вторую ошибку. Я сказала ему, что нам нужно обвенчаться. Я никогда не была религиозна, однако твердо верила, что золоченые венцы, которые поднимет над нами поп, на самом деле будет держать Дух Святой, или Ганимед, или, я не знаю, Гаутама.

Максим был как ручной пес, скачущий вокруг хозяйки и норовящий лизнуть ее в губы, чтобы она знала, как он ее любит. Мне льстило все это. Но я желала покровительства богов. Я решила заключить с ними пакт: я отдамся вам на время этой странной церемонии с аналоем, фатой и кольцами, а вы – вы обеспечите мне Максима навеки.

Сразу после венчания приступы мерехлюндии у Максима участились. Он испугался, что должен будет жить со мной вечно. Его мать, которую я ненавидела за то просто, что она прожила всю жизнь за оградой подмосковного военного городка со своим плебеем-летчиком, вбила Максиму в голову мысль, что теперь «тебя и Ольгу связал Бог». Эта ненавистная женщина пыталась подлизаться ко мне: ее до смерти пугала прежняя жизнь Максима с дюжинами баб в койке – вокруг-то ведь ходил СПИД. И она, хоть и чувствовала мою ненависть, все же тихо молилась на меня.

Мозги Максима медленно закрутились, как у тупой лесной белки. Он ни черта не знал ни о Христе, ни о Ганимеде, ни о Гаутаме, он думал только об одном: теперь мы с ним соединены *навечно*. Его представления о загробной жизни были дебильны, но одно он знал твердо: я последую за ним повсюду – в рай и в ад.

Я действительно была готова последовать за ним в рай или в ад, хотя все концепции загробья кажутся мне сомнительными. Максима же вечность нашей любви почему-то ужаснула. Он был готов (по крайней мере, он думал, что готов) жить со мной семьей до самой смерти. Но после смерти... Не много ли с нее?– вопрошала его убогая душа. Я читала эту мысль на его лице после безрадостного для меня соития, и по пьяни он сам пару раз проговаривался с непонятной жалкой усмешкой:

– На одной сковородке жарить будут?

– Могу остаться в раю, – говорила я холодно и отворачивалась к стене, и Максим тут же приползал на брюхе, и чем больше я его давила, тем послушней он был и тем больше я его любила, но от мысли, что эта любовь будет длиться *вечно,* ему становилось не по себе.

Третью ошибку я совершила, когда согласилась встречать Новый год, кочуя по кабакам.

Я решила выглядеть сногсшибательно и втайне думала о костюме новорусской Снегурочки. Раз патриарх Никон устроил под Москвой Новый Иерусалим, думала я (мое проклятое образование не позволяло мне рассуждать просто, хотя иногда и предлагало забавные параллели), то почему я не могу сделать из себя новорусскую Снегурочку?

Но это должна была быть такая Снегурочка, о которой только я одна знала бы, что это Снегурочка, а остальные просто причмокивали и подмигивали бы.

Самым трудным оказалось подобрать сапоги Снегурочки. Ни красного, ни белого я не хотела, дабы образ мой не сделался явен, как сарафан. Нет, думала я с усмешкой, объезжая магазины, я буду *тайной* богиней, и если что не по мне – заморожу, смеялась я тихо. Наконец, на Кутузовском я нашла совершенно немыслимые, но милые короткие черные сапоги с белой шнуровкой.

И вот, когда в десять часов вечера 31 декабря я вышла из спальни к Максиму, он только захватал ртом воздух, как пескарь. Над сапогами был короткий черный костюм с бледно-голубой вставкой в блестках. На голове сидел серебряный обруч с семью ледяными цирконами. Волосы собраны в короткий хвост. Я была сногсшибательна, хотя и несколько дерзка, я знаю.

Максим уныло покосился на свой дорогой, но совершенно глупый костюм от Босса. Я никогда не считала, что муж и жена должны одеваться одинаково хорошо. Я умнее Максима, поэтому и одеваться я должна была *лучше*, а он пусть объявляет всем и каждому, сколько стоил его костюм. Единственно, на чем я настояла, это чтобы он сменил галстук и надел темно-синий в серебряную цепь.

– В кандалы? – улыбнулся Максим неловко.

– Ты что-нибудь имеешь против? – спросила я, светски улыбаясь и поднимая выщипанные брови.

Вся эта штука со Снегурочкой была настолько удачна, что затмила даже подарок Максима – красную «Субару». Но я подо-

зревала, что «Субару» – это несколько больше, чем он мог себе по-хорошему позволить, и была очень довольна.

Мы поехали в «Софитель». Там все вышло безобразно. Нет, наша компания была в восторге от меня, и Козлик, самый богатый из всех, любовница которого навешала на себя мелких бриллиантов без толку, восхищенно сказал:«Королева Марго!» – очевидно, вспоминая единственную книгу, которую дочитал до конца. Я бросила ключи от «Субару» на стол; бабы завистливо загудели, мальчики похлопали Максима по спине: правильно поступаешь, чемпион, а то неприлично уж было Олюне на «Жигулях» ездить. Безобразно же было все остальное: разухабистый советский оркестр, утопленная в жиру еда и неловкая обслуга. Но самое гадкое случилось, когда нам не подали шампанского к полуночи, и суеверный Максим так обозлился, что наорал на официанта. Я позеленела. Он всегда вымещал свою бесхребетность на официантах и продавщицах, причем именно в тех редких случаях, когда они не могли отбрехаться. Сейчас был как раз тот самый случай, и официант даже принес нам лишнюю бутылку шампанского.

Козлик весело сказал:

– Вот спасибо Максиму!

Но я-то видела, что сам Козлик орать не стал, а тихо подошел к метрдотелю и сказал ему что-то такое, от чего лицо того вытянулось, как ташкентская дыня.

Я ненавидела Максима в этот момент и не стала держать зло в себе (мне говорили, что от этого приключается рак). Я наклонилась к нему и тихо сказала:

– Видишь? Все над тобой смеются. Мужик должен держать себя в руках. Эх ты.

Максим был совершенно уничтожен и принялся пить.

Из «Софителя» мы ушли рано и поехали в «Американский бар» – сумрачный деревянный салун, где недолго разглядывали небогатую веселящуюся молодежь, подобрали там пару странных друзей и отправились в сомнительную «Пирамиду».

Максим был уже сильно пьян. Я не садилась за руль из принципа. Я была уверена, что ни во что мы не врежемся: боги меня

всегда хранили. Нас дважды останавливали гаишники, и Максим кидал им по полтиннику. Я молчала и думала, что надо молчать именно так – как молчит сугроб, просто не умеющий говорить. Максим несколько раз пытался подлизнуться, нес какую-то анекдотическую чушь, пытался обсуждать друзей. Я смотрела в окно и куталась в шубу.

В «Пирамиде» я встретила Лили. Уж кого-кого, а Лили-то я знала преотлично. Мы делили с ней двух мужчин и одну женщину. Максима мы с ней никогда не делили, и она относилась к нему с той странной смесью ненависти и интереса, с которой женщины всегда относятся к мужьям подруг: ненависти, потому что те скоты по определению и подруга могла бы найти кого-нибудь получше; интереса, потому что подсознательно хотели бы иметь мужей всех подруг как своих – точно так же, как хотели бы иметь подругину сумочку или кольцо.

Лили облизнула фарфоровые сиреневые губки, провела ладонями по бедрам, затянутым в черное трико, и сказала:

– Как я сегодня выставила свои грудки, а?

(Однажды одна старая лесбиянка попросила ее снять кофточку, и с тех пор Лили считала, что у нее красивая грудь.)

– Парижская выставка, – сказала я.

Лили оглядела меня и с завистью произнесла:

– Ты прямо звезда.

Я была звездой и знала это, поэтому ничего не ответила.

Мальчики пошли играть в кегельбан, а мы с Лили взяли по водке и стали кружить по «Пирамиде»: это была наша старая игра – считать, сколько мужиков попытается нас с ней снять.

Лили что-то болтала, я рассеянно слушала, а сама наслаждалась: я любила «Пирамиду». Устроенная в громадном ангаре – бывшем крытом стадионе, «Пирамида» называлась «Пирамидой» оттого, что так была выстроена небольшая танцевальная площадка из неоновых труб. Но ни неон, ни огни над столиками, ни гул – ничто не могло достичь невообразимых высот ангара, черных, космических, пустотных, угрожающих. С верхних галерей на меня смотрели серые, как крысы, марсиане, жители Венеры, похожие на проросший лук, и вообще всякая галактическая нечисть, которая умнее и опаснее любой земной.

Ох, как я любила эти невнятные угрозы – от высот «Пирамиды» ли, от лихой езды, от крадущейся тени в подъезде. Они делали меня сверхсильной, хозяйкой над пустотой, механизмами и даже над насильниками.

Я повернулась к Лили и сказала:

– Лили, хочешь, я тебя изнасилую в дамской комнате?

Лили сухо отвечала:

– Во-первых, ты знаешь, что с *этим* я завязала. Во-вторых, здесь не дамская комната, а сортир, а я уже слишком стара, чтобы раздеваться над унитазами.

Кто-то тронул меня сзади за локоть. Я оглянулась – Максим.

– Меня изнасилуй, – сказал он, пьяный, но готовый. – Ну трахни меня. Ну.

– Ты мне испортил вечер, – сказала я громко. – Гуляй один.

И мы с Лили продолжали ходить и считать, а потом приставалы пошли уже по второму кругу и нам стало неинтересно, и мы просто глазели на толпу, в которой ценители мужского тела мешались с мальчиками-проститутками, шпаной и новым светом. Новый свет был в черном и красном, мальчики-проститутки – в черном, и, в общем, все выходило довольно мило.

В пять утра стали расходиться.

Козлик подвел ко мне шатающегося Максима и хохотнул:

– Мужик-то твой, Олечка, миллионное дело затеял!

– Мне это неинтересно, – сказала я.– Прогорит – любовника заведу.

– Очень может быть, что и прогорит, – сказал вдруг Козлик серьезно. – Дело стремное.

Тут сердце у меня екнуло, я посмотрела на Максима, соображая, что же сказать или, еще лучше, сделать, но ничего, как назло, в голову не приходило. Максим же сделал вещь *страшную*: он отстранил Козлика, немного покачался в полутьме, как фитилек, а потом заглянул мне в лицо и бормотнул:

– Ну, вези меня, *Снегурочка*!

Я едва не охнула. Уж не только Максим, но и вся «Пирамида» пошла передо мной кругом. Наверно, так чувствовал себя Зевс, обернувшийся быком, когда Европа сказала ему с ухмылкой: «Тебе хвост не мешает, о Громовержец?»

Но делать что-либо было уже поздно. Максим свалился мне на плечо, мне помогли довести, вернее, почти донести его до машины, и больше до утра он со мной не разговаривал.

Утром я была сама доброта, ходила вокруг Максима как нашкодившая кошка и, не выдержав, спросила:

– Тебе правда понравилось, как я была вчера одета?

– Ага, – сказал Максим, листая порнографический журнал.

– А на кого я была похожа? – спросила я кокетливо, с замирающим сердцем.

– Ну что ты пристала, – обиженно загудел Максим, – посмотри, какие сиськи замечательные.

– Нет, я хочу знать! – ныла я ласково.

Максим лениво подумал:

– На самую красивую бабу на свете. Ты будешь смотреть журнал или что?

Я вздохнула и принялась смотреть журнал, зная, что очень скоро меня ждет скучная, но яростная койка.

О том, что у Максима начались неприятности, я узнала не сразу. Домой он и раньше приходил мрачный, вечно огрызался, ныл, жаловался на жизнь и все грозил сходить к психиатру. Я не понимала, что такого особенного в том, чтобы пойти к психиатру, но, видно, в семье Максима на это смотрели иначе, чем в моей.

Новость принесла та же самая Лили. Эта проклятая тварь сказала с сочувствием:

– Да-а, говорят, твой Максим здорово влип.

– Сифон? – поинтересовалась я с деланно беспечным видом.

Лили прицокнула языком.

– Не сифон. Он задолжал чеченам. Счетчик уже стучит.

Что такое счетчик, мне было хорошо известно. Безумные проценты, которые просто невозможно отдать, уже довели одного моего бывшего сокурсника до того, что он разогнал свой «Мерс» и убился о стену. Я похолодела.

Максима я ни о чем не спросила и кинулась к мальчикам.

Мальчики хмуро сказали, чтобы я не лезла куда меня лезть никто не просил. Сердце мое упало. Я едва не разревелась. Проклятая Лили оказалась права.

Максим молчал еще месяц. А потом однажды, вернувшись домой очень рано, потребовал водки и все рассказал. Деньги были не немыслимые, но для Максима большие. Половины из его путаных объяснений я не поняла. Чечены взяли у банка, Максим – у чеченов, дал Козлику, Козлик дал другому банку... Голова моя кружилась. Я поняла, что деньги пропали невозвратно и что чечены Максима хотят убить.

– Но ты же отработаешь! – лепетала я.

– Как я отработаю?! – каркнул Максим. – Как?

– Давай подумаем, – произнесла я уверенным тоном. Максим посмотрел мне в глаза с жалобной усмешкой и сказал:

– У меня срок до следующей пятницы. Десять дней. Все.

– Но зачем им тебя грохать, – настаивала я спокойно. – Мертвый ничего не отдаст.

– Ты не понимаешь, не понимаешь! – заныл Максим. – С меня и с живого взять нечего. Квартиру снимаю. Машина – дешевка. А если грохнут – так хоть другим неповадно будет. Прямой расчет.

– Понятно, – сказала я. – Нам нужно уехать.

– Куда уехать? – спросил Максим безнадежно.

– За границу, – отвечала я. – Деньги наскребем. Перебьемся.

– Где? – уточнил Максим угрюмо.

– Завтра поговорим, ладно?

Полночи я провела на телефоне. Выяснилось, что денег «перебиться» никто не даст. Слух о максимовом долге уже распространился по всем моим явкам. Следовательно, надо было бежать с тем, что у нас было. А было у нас, как сейчас помню, немногим более пяти тысяч. (Долларов, другим мы не меряли.) Следовательно, отпадали все, может быть, и хорошие, но дорогие варианты. Так отпала Италия, в которую можно было лететь хоть завтра. Рухнула Франция. Рассыпался американский мираж. Мне посоветовали Кипр. В сердцах я сказала:

– Лучше в Сырбор поехать. На Кипре половина – русские.

– Ну-ну, поищи что другое, – сказал с усмешкой мой друг.

Максим на слово «Кипр» среагировал совершенно невротически. Он стал орать, что я дура, что на Кипре найти его легче, чем на Тверской, что если он сбежит, а его все же найдут, то тут уж грохнут точно.

Через седьмые руки я добралась до журналиста, который часто печатал интервью с русскими добровольцами в Сербии. Он долго и лениво отбрехивался и наконец назначил мне свидание у памятника Пушкину.

Я понесла что-то про разбитое сердце моего мужа, которое можно залечить только на поле боя. Журналист скучно поглядел на меня и спросил:

– Бандит?

– Бандит, – сказала я твердо. – Бандит, но невезучий. Как Чебурашка.

На Чебурашку журналист рассмеялся и посмотрел на меня с некоторой симпатией.

– А ваш Чебурашка как насчет пуль-то?

Я понимала, что делаю несусветную глупость, что югославские пули (я никогда не могла понять, с кем там воюет Сербия) хуже чеченов, но сейчас меня занимало одно: я больше не могла смотреть на это трясущееся существо, сидевшее в трусах на кухне и глушившее баночное пиво, которое я таскала на себе, как испуганная лошадь. Все что угодно, но только выгнать его из Москвы, чтобы он наконец вырос.

– Насчет пуль нормально, – заявила я глупо, но твердо. – И еще у него черный пояс.

– Черный пояс – это хорошо на могилку, – одобрил журналист.

– Я имею в виду каратэ, – сказала я ледяным тоном.

– А я – могилку, – возликовал журналист. – Вы, девушка, как себе русских добровольцев представляете?

– Как французский Иностранный легион, – ответила я, не задумываясь.

Журналист присвистнул:

– Вы что кончали?

– Истфак.

– А ваш бандит не с филологического?

– Слушайте, – сказала я зло, – он не с филологического, и ему очень надо уехать. Я знаю, что многих людей перебрасывают в Сербию.

– Перебрасывают, – согласился журналист. – Ну, а как вы себе представляете, что, он долго там под пулями проходит?

– Он оттуда куда-нибудь переберется.

– К кому?

– Ко мне.

– А где будете вы?

– В Париже. Или в Анкаре.

Журналист велел мне еще подумать, а потом позвонить.

– Вообще-то, – сказал он весело, – на сборы надо всего два дня.

Когда я поведала Максиму про Сербию, он завыл.

– Вши! Окопы! Сербы! – кричал он, с ненавистью глядя на меня. – А я ни одного языка не знаю! Лучше уж пусть чечены, не-ет, уж пусть лучше чечены!

И он вскочил с кровати и стал натягивать штаны, как будто действительно собирался идти подставлять лоб под кавказское дуло.

– Милый друг, – сказала я ему, – уходи, но больше ты в эту квартиру не вернешься. И вообще, котик, ничтожно все это.

И я легла на тахту и открыла французский роман. Максим, бормоча: «Сумасшедшая, вот сумасшедшая, сейчас к Лильке поеду!», – продолжал стремительно одеваться. Я зевнула и отвернулась к стене.

Через три дня мы были на Кипре.

Стояла середина марта. Стремительно пронесшись на такси из прибрежной Ларнаки до горного Тродоса, вздрагивая при виде каждой встречной машины, только мельком отмечая роскошные маковые поля, спускавшиеся к морю, и виллы под оливами, в горах мы, наконец, перевели дух.

Деревня Платрес стояла на склоне горы, называвшейся, разумеется, Олимп. Мы поселились в дрянной гостинице; ей было лет сто; дощатая, грязная, с единственным туалетом на весь

ридор, она была неслыханно дешева: за номер мы платили есять долларов. Прямо через дорогу стоял альпийского вида тель с затемненными стеклами. Максим стал хныкать. Хныка-ье его возобновилось, когда к вечеру стало холодать. Хозяйка ринесла обогреватель, но натопить нашу комнату было так же ереально, как протопить Вселенную. (Тут я в очередной раз спомнила чертову космическую «Пирамиду», с которой все и авертелось.) С Максимом приключилась почти истерика. Я бегала в тоскливую лавку за кислым местным коньяком и вли-а в него целую флягу. Некоторое время он сидел на кровати, упо раскачиваясь, а потом вдруг слабо сказал:

– Я согрелся и хочу спать.

Я укрыла его всеми одеялами, которые только были, навали-а сверху кучу наших вещей, и он моментально уснул. А я села а шаткий столик к окну и стала смотреть в ночь.

Вдалеке роились голубые огни. Я пялилась на них, думая о Пирамиде», Лили, коньячной лавке и франкфуртском duty-free, только спустя какое-то время сообразила, что это светятся дома а морском побережье. Тут я поняла, что за морем лежит Еги-ет, и тихонько засмеялась. Скрипнула кровать. Максим про-нулся. Я молчала, как мышь, моля всех богов, чтобы он уснул нова и дал мне передышку хотя бы до утра, но Максим сказал аким-то особенным голосом:

– Раздевайся.

С недоумением я посмотрела на него. Спать мне не хотелось. Іо не успела я ничего ответить, как Максим соскочил с посте-и и уже срывал с себя свитера. Я онемела. И вот он стоял пере-о мной со своим неумолимым сучком, и его холодные пальцы вали на мне джинсы. Я не помогала, и он, всегда ленивый на іолнии и кнопки, сейчас вдруг все сделал сам, и вот уже свер-утая в какой-то узел, я почувствовала, как сук вошел в меня, ловно рогатина в медведя, и тихо завопила от счастья, а он ловно рубил меня, и, чего никогда не бывало даже в лучшие ремена, от этого насилия я унеслась под самый купол своей емной жизни.

Когда я шлепнулась обратно, едва переводя дух, Максим закрывал нас одеялами, твердо говоря, что не даст мне спать одетой.

И действительно – той ночью не дал.

Какая роскошная жизнь наступила! По утрам мы жадно жрали яичницу в холоднющем зале у распахнутого окна, чувствуя, как нас быстро согревает солнце. Потом мы курили, потом шли гулять вниз, в розовую долину. Персиковые сады светились, как бабушкины абажуры. Из деревенской церкви козой бренчал колокол. Его звон разносился по всей долине. Ручьи несли с гор всякую чушь. Пахло лесом и холодным камнем. По утрам почти все еще спали, и я честно скажу: лучше этих часов ничего в моей жизни не было.

Мы обсуждали будущее. Мы решили, что найдем какую-нибудь чепуховую работу на Кипре – полы же кто-то должен мыть – а там посмотрим. Ели мы всякую дрянь и много пили, но Максим больше не ходил небритым, и я поняла, что начинается другая жизнь.

Вечерами мы гуляли по главной улице, рассказывая друг другу смешные истории про постояльцев альпийского отеля, стоявшего напротив нашей гостиницы. Однажды (это было в середине апреля), я как раз доканчивала сказку про то, как бабушка-немка соблазнила мальчика-лифтера; вдруг Максим вцепился мне в локоть и пробормотал:

– Чечены.

Я совершенно спокойно посмотрела на трех молодых людей, проходивших мимо.

– Греки, – сказала я с убежденностью.

Максим замкнулся и мрачно смотрел им вслед. Он молчал до самой ночи.

– Мне надоело в горах, – сказала я ему. – Давай завтра переедем к морю.

– Завтра, – сказал Максим, закрывая глаза, – я пойду к чеченам.

– Но они же тебя не узнали, – сказала я.

– Не ты ли учила меня смотреть опасности в лицо? – спросил Максим с усмешкой.

Я не нашлась, что сказать. Он заснул очень быстро, я поражалась его спокойствию, а сама не спала до рассвета.

Утром Максим сосредоточенно выбрился и вымылся («Как на смерть идет!» – подумала я), молча съел завтрак (я не встречала), пересек улицу и принялся ждать.

Я простояла за дверью, подглядывая за ним, больше часа: чечены или греки, но только спали они долго, как Максим в Москве. Наконец, они вышли из отеля; Максим заговорил; они сказали ему что-то неприятное и пошли прочь; он, не смущаясь, зашагал по пятам, что-то весело болтая и взмахивая руками. Так они и скрылись за поворотом.

Я просидела в номере целый день. Максим вернулся в шесть часов, слегка пьяный и довольный.

– Налаживается, – сказал он.

– Но это не те?

– Конечно, не те.

– Так что – работа?

– Одевайся, – сказал Максим, не слушая меня, – нас пригласили в ресторан.

Я долго выбирала грим, подпрыгивая перед зеркалом в стылой умывальне, наспех укладывала волосы и говорила: ничего, опоздаем на полчаса. Но Максим хлопнул дверью и ушел, и я догоняла его бегом, на ходу надевая кольца.

Ничего особенного в новых приятелях Максима не было, таких ребят я часто встречала в Москве. Я постаралась им понравиться и плела всякую похабную чепуху про греческих богов и богинь.

– Ты мне книжку напиши, а я ее издам, – сказал самый молодой и важный из них, Шамиль. – Знаменитая писательница будешь!

И предложил мне баснословный гонорар. Я подумала, что он врет, но, конечно, тут же согласилась.

Потом мы пошли в номер к Шамилю. От французского коньяка я охмелела, хохотала и хватала хозяев за горячие плечи. Потом все как-то устали и расползлись кто куда. Под храп, бормотание и пьяные тосты я сказала Максиму:

– Вот теперь я горжусь тобой. Я знала – ты выплывешь.

Лицо его не изменилось, и он серьезно произнес:

– Себя благодари.

Я посмотрела на него с признательностью:

– Немного посидим, а потом пойдем, правда, котик?

Все с таким же непроницаемым лицом он подошел к столу, выпил стакан коньяку, повернулся ко мне, усмехнулся и громко сказал:

– Снегурочка.

А потом он с наслаждением пустил меня по рукам.

1996

МЕРТВАЯ ГОЛОВА

Семнадцатого июля анемичного девяносто четвертого года в одиннадцатом часу утра Боргин выезжал с Воздвиженки, бывшего Калининского, на Суворовский бульвар. Метрах в пятидесяти от поворота маячила полустертая пешеходная «зебра», у которой водители, торопясь проскочить заторное место, никогда не останавливались. На полпути к «зебре» Боргин стал притормаживать: не то чтобы он особенно пекся о пешеходах, просто, прожив некоторое время в Штатах, Боргин, не поняв и не приняв американской жизни, машинально усвоил некоторые американские манеры и теперь притормаживал на переходах, вызывая злобу других водителей, так же механически, как иногда ни с того ни с сего вдруг записывал в своей московской книжке:«Позв. Liz».

Пешеходы, завидев притормаживающую машину, заметались, как мнительные гуси, мысленно пересекая дорогу, но в то же время ожидая от Боргина какого-то коварства или даже зверства.

Боргин отсигналил рукой, но пешеходы смотрели не на него, а по привычке куда-то под колеса, наконец все же решились и нервно рванули вперед. Один молодой человек, напротив, не только не устремился с другими, но дернулся к «Форду» Боргина, прилепился к раскрытому окну, как бабочка или летучая мышь, и ехидно спросил:

– Excuse me, but are you Russian?

Боргин пошевелил челюстью (сзади уже истерически гудели) и скучно сказал:

– Quite. Now quick: I will give you a ride.

Он услышал, как левая задняя дверца хлопнула и как дураковатый иностранец плюхнулся на сидение. Боргин рванул вперед, не ответив на оскорбления, которые прокричали ему грузин с воспаленными глазами из «Жигулей» и русский бандит в траурно-черном костюме из «Бентли».

Иностранец переместился на середину сиденья, и теперь Боргину в зеркало было видно, что он залучил в свою машину шатенистую моль лет двадцати пяти с костистым черепом, решительным носом и испуганно-лукавыми глазами.

– Немец? – спросил он, выруливая на Никитскую. – Ну конечно, немец. Мне просто интересно, – неторопливо рассуждал Боргин как бы сам с собою, плавно обходя другие машины, – почему каждый заграничный мальчик считает, что все русские – свиньи по определению? То есть, – Боргин дидактически, как римский сенатор, поднял правую руку, – я, может быть, и не отрицаю самого того факта, что все русские свиньи, мне просто интересно, откуда у всякого мальчика из Бремена или из штата Арканзас обязательно обнаруживается столь глубокое понимание русского народа?

– Сколько тебе лет? – перебил немецкий мальчик.

– Тридцать пять. Это по-немецки сто пять, – ответил Боргин. – Год за три.

– Год за три?

– Ага. Как на фронте. Слыхал – был такой Восточный фронт, когда сначала русские до Москвы бежали, а потом немцы до Берлина?

– Мой дедушка воевал в дивизии СС «Мертвая голова», – сказал немецкий мальчик, нагло нарываясь на скандал.

Боргин мельком глянул на него.

– Оно и видно, – сказал он.

– Это почему «оно и видно»? – задиристо поинтересовался мальчик.

– Купи себе зеркало, – посоветовал Боргин. – У тебя не голова, а череп.

Мальчик откинулся назад и засмеялся.

– Так вот, Мертвая Голова, – продолжал Боргин прерванную лекцию, – с чего ты взял, что все русские – свиньи и, следовательно, никогда не останавливаются на переходах?

– Но это правда! – мальчик хлопнул себя по голым коленкам.

– Сколько ты в Москве?

– Семь дней.

– И сколько ты еще будешь в Москве?

– Я завтра улетаю.

– Конечно, ухаживать за больными чумой в Индии?

– К моей сестре в Италию.

– Хорошенькое дело. Приезжает немецкий мальчик в Москву на семь дней, понимает все – решительно все – о русском народе и уезжает к своей сестре в Италию. Кстати, ты не задумывался, отчего ваши сестры всегда живут в Италии, или в Бельгии, или, на худой конец, в Токио? Ни одна сестра заграничного мальчика на моей памяти не жила в Челябинске, или Донецке, или, прости меня, Господи, в Улан-Удэ.

– В «Улан» что? – спросил мальчик.

– Вот именно. В Улан-Удэ. Сначала эти немцы направляют к нам Владимира Ильича Ленина – заметьте, как вонючую вошь, в запломбированном вагоне, потом они вступают с ним в преступную межгосударственную связь в Брест-Литовске, оттяпывая у нас нашу любимую неньку-Украину (я не знаю, как по-английски «ненька», но ты все равно не поймешь), при этом американцы и всякие прочие шведы радуются расчленению России и не спешат на помощь белым армиям – ты хоть знаешь, что такое белая армия? Словом, весь цивилизованный мир вешает нам на шею этих мерзавцев большевиков, а потом сентиментально удивляется, почему в Москве «Мерседесы» переезжают старушек и почему в России опасно пить воду из крана. И при этом их сестры живут в Болонье. Или в Париже.

– А ты был в Париже? – нахально осведомился мальчик.

– Пустой город, – отвечал Боргин холодно. – Был там один человек, Хемингуэй его фамилия, так и тот давно застрелился.

– Мой дедушка дошел до Эльбруса, – сказал мальчик.

– Это не твой дедушка там нагадил в ледник? В Нальчике теперь, говорят, вода калом пахнет.

Мальчик молчал.

– Вы нам за Ленина репарации будете платить или нет? – разглагольствовал Боргин. – Это же с ума можно сойти, сколько вы нам должны.

– Извини, – сказал мальчик неожиданно. – Я знаю, я сука. Мы все суки. Лезем вам в душу. Советы даем. Учим.

– Тебе куда? – спросил Боргин, удовлетворенно выдержав паузу.

– Мне вообще-то надо было в дом напротив перехода. Теперь все равно. Ничего. Пройдусь пешком.

– Ты когда улетаешь? – спросил Боргин.

– Завтра утром.

– Приходи ко мне вечером. Поговорим про русскую душу.

– А я ведь правда приду!

Боргин притормозил. Они стояли напротив московского зоопарка.

– Это зоопарк, – сказал Боргин. – В нем выступал дедушка Ленин. Гиены его очень одобрили, а жирафа все просила перевести на венгерский, но ей не перевели, и она, плача, все равно голосовала «за».

– Что?

– Ничего, – сказал Боргин. – Вот мой адрес.

Он нацарапал адрес на клочке глянцевой бумаги, оторванном от журнала «Деньги», протянул его мальчику и положил руки на руль.

– Так я приду, – сказал мальчик.

– Да-да, – кивнул Боргин.

Он проводил мальчика взглядом – голенастого, разумеется, в диких шортах, оглядывающегося, машущего рукой, и нажал на газ.

Весь день Боргин мотался по городу. Он был должен триста тысяч долларов, а ему были должны четыреста пятьдесят, но это уравнение было нерешаемо, потому что выходило, что Боргин должен завтра, а ему вроде как и вчера, но в то же время и послезавтра. В общем, день был многотруден, бандиты раздражительны и неуступчивы, будущее неприятно, и к восьми часам вечера Боргин совершенно забыл и про мальчика, и про лекции, которые он с некоторых пор имел обыкновение читать

иностранцам, и про репарации, причитавшиеся с Германии за дедушку Ленина.

Поэтому он был крайне изумлен – и изумлен неприятно – когда обнаружил у дверей своей квартиры малознакомое, но узнаваемое существо в синих шортах и белой майке.

Завидев снизу шевеление у дверей, Боргин подумал:«Ну вот, доигрался. Надо было все-таки купить «стечкина». Поняв, что это был всего-навсего идиотский иностранец, он озверел.

– Привет, – сказал он. – Прости, я задержался у Ельцина.

– Да я так, – отозвался мальчик, сидя на перилах и качая ногой. – Я еще раз извиниться. А вообще-то – пока.

И он распрямился, как циркуль.

– Да нет, – ухмыльнулся Боргин. – Ликвидация безграмотности еще не закончена. Заходи.

– Какая у тебя сложная дверь, – сказал мальчик с восторгом, наблюдая, как Боргин отпирает сначала железную, почти бункерную, а потом дубовую, лакированную, дверь. – Как в швейцарском банке.

– Лучше, – сказал Боргин, которого три месяца назад чуть не убили у этой самой двери электрической дубинкой. – Проходи.

Он рефлекторно посмотрел назад, убедился, что никто не собирался войти в квартиру «на плечах», и тщательно запер за собой обе двери.

– Ты сегодня будешь подавальщицей, – распорядился он, проходя мимо мальчика на кухню, открыл холодильник и принялся яростно метать на стол консервы, ненавидя себя за то, что вот по дурости и из какого-то былого чванства затащил в свой дом чужака, которого, не в пример прочим, неудобно просто так выгнать.

– Икра, – сказал мальчик с деланным восторгом.

– Не увлекайся, – посмотрел на него Боргин мельком. – Ты льстишь недостаточно уверенно. Водка?

– Водка! – согласился мальчик отчаянно.

Наконец, стол был готов, и Боргин с очевидным удовлетворением посмотрел на тарелки и вообще огляделся по сторонам. Эту квартиру на Малой Грузинской в прежнем, а отчасти и те-

перь еще гэбэшном доме он обставлял наконец на свой вкус, а не на вкус матери или бывшей жены, и стены, штукатуренные в мрачную терракоту, черные кожаные седалища, гнущиеся покорные лампы, убийственно безвкусная люстра и нахальные своей иностранщиной книжные полки нескончаемо радовали Боргина.

– Это твоя квартира? – осведомился мальчик после первой рюмки.

– Моя.

– Ты из «новых русских»! – сделал мальчик сногсшибательное умозаключение, сузив глаза.

– У меня есть деньги, – согласился Боргин.

– Ты связан с мафией? – спросил мальчик, подрагивая от возбуждения.

– Нет, – сказал Боргин.

Он плохо понимал, что заставило его дать свой адрес этому юнцу в перьях, случайному знакомцу, заправскому надоедале, в сущности. И он принялся пить водку без меры, не соблюдая своей «плепорции», зная, что завтра суббота, что большинство дел в субботу нерешаемо, а если решаемо, то не раньше одиннадцати, и что к тому времени хмель сойдет, и что теперь важно сбить злость на себя и на немца, влить в себя настоящую дозу спиртного, свалиться и ни о чем не думать.

– Кстати, – сказал мальчик, – меня зовут Курт.

– Очень кстати, – сказал Боргин. – Меня зовут Падший Ангел.

(На самом деле его кличка была «Американец».)

– Я читаю «Братьев Карамазовых», – сообщил Курт. – Ты похож на Митю, – выпалил он радостно.

– На Хуитю, – вздохнул Боргин по-русски.

– Что?

– Уточняю, – сказал Боргин.

И они заговорили про русскую душу. Разговоры про русскую душу безмерно злили Боргина. Интеллектуальные друзья, которых он пока что сохранил на Западе, вечно говорили ему, неодобрительно округляя глаза, про русское стремление к самоуничтожению. Боргин не знал, из какой именно популярной

книжки они забрали себе в голову эту мысль про стремление русских к самоуничтожению, но неизменно наливался черной злобой, потому что он, собственно говоря, жил как жил с момента получения вполне безобидного гуманитарного образования пятнадцать лет назад до сегодняшних времен самостоятельного полукриминального плаванья.

Разговор про русскую душу утомил Боргина. Он устало смотрел на немецкого мальчика, автоматически запоминая его аккуратную выстриженную хорошенькость, его деликатность в поглощении пищи и его цивилизованное желание быть приятным.

– Расскажи мне про Улан-что, – попросил Курт, очевидно, совершенно так же переживая момент усталости.

В Улан-Удэ Боргин никогда не был.

– Есть места и похлеще, – сказал он наугад и стал внезапно рассказывать про извилистый город Находку и про весь полузатопленный континент русского Дальнего Востока. Скоро он знал, что говорит уже сам для себя и что уплывает куда-то – не то в Японское море туманов, не то просто в какую-то детскую вымышленную страну. Он говорил про мысы-эсминцы, непоколебимо режущие океан, чтобы через пять тысяч лет быть им окончательно пожранными; про их вздыбленные оконечности, поросшие гнутыми мелкими дубками, дышащими морем, стоящими в окружении розовых, желтых и синих трав; про то, что эти мысы похожи на курительные трубки, протянутые в океан из невесомых легких голубых сопок; про сами сопки, плавающие в перистом тумане, переваривающие в его метафизическом соке свои нерусские дальневосточные думы; про ослепительно холодную воду зеленого моря, когда ныряешь в него с катера, и про то, как жутковато, но сладко – как перед неотвратимым соитием – сводит промежность, когда понимаешь, что под тобой глубина в двести человеческих ростов; про прибой, как чувственный наплыв в округлых бухтах; про самую красивую на свете бухту Анна, обнятую двумя мужскими руками мысов, совершенную, более совершенную, чем та неведомая жена или проблематичная невеста, в честь которых бухта была названа когда-то; про океанские течения, властно затягивающие

в темень, как и вся жизнь наша; про позвонки больших острогубых рыб, неизменно по какому-то замыслу напоминающие распятия, – экология или не экология, в этом ли дело; про серпастые песчаные пляжи, на которых купаются только мальчишки-пограничники, и то, когда офицер не видит, купаются, двуполо вступая в океан и не предугадывая, что никогда в жизни больше не получат столь удовлетворяющего объятия; про чернила тумана, разлитые над водами, как катастрофический дым Цусимы; про желтые золотоносные дороги в сопках; про частые водопады, слезящиеся с гор; про хранящие рыбу бурливые реки; про сырость, дикость и хмурость всего этого любвеобилия, которое никогда не распускает в смехе бровей, как сумрачно-серьезная – и оттого вечно правильная – мать.

Боргин рассказывал все это, и его собственный весьма небольшой опыт ночевок у пылкого костра над черными обрывами – веселых ночевок, сдобренных подогретыми в углях консервами из трубача; его личные отчаянные прыжки в океан, как в быль-небыль; подобранное им распятие – позвонок рыбы; его, Боргина, память о шамански выхваченных костром цветах, звенящих водочным набатом в ночи, – все это вырастало в целую жизнь, одновременно прожитую и непрожитую на берегах Тихого океана. Поэтому, когда Курт восторженно спросил: «А ты ходил по этим местам?», он гордо ответил: «Не ходил, а кочевал», и это казалось на тот момент самой высокой истиной на свете.

Когда он замолчал, Курт, бледный, возбужденный, медленно сказал:

– Я хочу выпить за тебя и за Россию. Я ничего не понимаю ни в тебе, ни в ней, но я хочу за вас выпить. И мой дедушка никогда не воевал в дивизии «Мертвая голова».

«Мертвая голова»! Боргин пристально смотрел на Курта. «Мертвая голова»! Ну да, конечно, к черту эту дивизию, может, она никогда и не существовала, хотя я знаю, что она была, была, была, но вот вызывающий череп Курта, словно слегка закамуфлированный пришампуненной жизнью, его порхание по свету и по чужим душам – как это ни было дико, но все это возвраща-

ло Боргина в детские времена, когда он собирал бабочек и когда пределом его мечтаний была ночная совка – мягкая в полете, едва отличимая от нежной плоти ночи, совка, которая, якобы, летела только на цветение душистого табака, совка, несущая на своих плечах (если у совки могут быть плечи) клеймо, татуировку, знак: мертвую голову. И тут – по касанию – Боргина понесло к Голгофе и черепу Адама, и еще в какие-то совершенно запретные не только для знания, но и для созерцания дали.

От этой тотально нелепой и не имевшей рационального смысла круговерти Боргин полностью потерял голову и, забыв про триста тысяч, которые был должен он, и про четыреста пятьдесят, которые были должны ему, сказал:

– Пойдем пешком по Приморью?

И он снова пустился в ненужное уже описание дол и гор, моря и неба, ненужное, потому что Курт уже кивал: да, да, да.

– Который час? – вдруг осведомился Курт хрипло.

– Одиннадцать тридцать, – сказал Боргин и удивился, что так поздно.

– Если завтра мой рейс отложат, – сказал Курт отчаянно, – я останусь. Если бы сейчас было семь, я бы позвонил в компанию и сам отменил полет.

Боргин только мельком успел подумать, что и в семь часов вечера было поздно звонить в компанию, но он уже говорил, говорил, говорил.

А дальше случилась вообще смешная вещь. Он начинал фразу – Курт заканчивал. Курт открывал рот – Боргин отвечал.

Так прошло два часа. Боргин уже отлично понимал, что именно с ними происходит, а Курт не понимал и все взглядывал на Боргина глазами недоумевающей собаки: ты старший, ты знаешь. Объясни! Но Боргин не объяснял.

Потом Курт сделался сонлив, глупо смотрел, качаясь, в пространство (Бог знает, что он там видел и что думал), и Боргин сказал:

– Ложись на диване. Я разбужу.

– Только не позже пяти, – пролепетал Курт, свернулся в калачик и уснул сном ребенка.

Боргин некоторое время смотрел на него, на его некрасивые острые колени, нелепо подогнутые к впалому животу, на завитки волос, враспотык приклеенные к черепу, на безмятежное лицо. Боргин было стал, нервно кусая губу, решительно расстегивать рубаху (галстук и пиджак он снял много раньше), а потом почему-то остановился на третьей пуговице и пошел на кухню. Он сказал в телефон:

– Ляга. Сегодня машину к пяти утра. Да. Да. К моему подъезду.

Выпил чашку кофе и отправился спать.

В пять он разбудил Курта. Тот мало что понимал, держался за голову, просил пить. Боргин довез его до гостиницы, Курт покидал вещи в чемодан, они покатили в Шереметьево.

Когда проезжали мимо противотанковых ежей, обозначавших рубеж, на котором немцев не пустили в Москву, Курт дернулся и хриплым голосом сказал:

– А лучше бы, если бы мой рейс все-таки отменили.

Но рейс не отменили, и они неестественно дружественно обнялись перед таможенной стойкой, и Курт помахал рукой и скрылся за Стиксом паспортного контроля. Боргин зло сказал Ляге:

– Бар. Который открыт.

Но такого бара даже для Боргина в восемь утра в Москве не нашлось, и он вернулся на свою квартиру, и метался по ней, жалея, что ночью оставил Курта видеть немецкие сны, а потом лег в кровать и уснул с улыбкой.

Они переписывались по электронной почте. Курт, посетив сестру, осел в Гамбурге и отвечал Боргину без задержек. Они писали друг другу много ерунды, и Боргин был противен самому себе, рассуждая в посланиях о смысле жизни, в то время как в настоящей жизни он должен был бегать от кредиторов и подчас даже нанимать охрану. Курт тем не менее принимал все философствования за чистую монету и надрывно писал, что в западной цивилизации нет правды, что все провалилось в какую-то мещанскую дыру, и что он, Курт, больше не знает, что с этой жизнью делать. После того, как Курт написал: «Скажи мне, скажи, отчего мне так не везет с женщинами?», Боргин предложил

ему будущим летом пройти медленно, шагом, по Дальнему Востоку. Курт живо ответил согласием, но до лета оставалось еще полжизни, и они снова завели тягомотину про смысл бытия и бессмысленность их собственного существования.

Курт был первым, кто вымолвил слово «самоубийство». «Если бы я знал, что не умру непонятым и оболганным, как последняя собака, – писал он, – если бы был человек, который мог бы понять, что я ухожу не из-за трусости, а из-за растворимого кофе, пиццы и электронной почты, – я бы сделал *это*». Боргин, почти не задумываясь, устав в том числе и от финансовых дел, которые принимали какие-то фантасмагорические масштабы, когда чечены и грузины спорили, кому из них должен Боргин, а его собственные должники заслонились наемной стеной, отстукал на бесстрастных клавишах: «Не в самоубийстве трусость, а в продлении жизни, которая бессмысленна, как насморк у чахоточного». Курт замолчал, не отвечал, и Боргин отправил ему краткий меморандум: «Дорогой друг (чей дедушка не служил в дивизии «Мертвая голова»), почему бы нам не встретиться на Юге? Сейчас ноябрь, время гнилое, и надо лететь не в Приморье или на Эльбрус (где, как известно, твой дедушка, не будучи в СС, тем не менее насрал в ледник), а в Кабул, Кашгар, Александрию или Ялту. В Ялте, по слухам, почти умер Чехов».

Курт колебался два дня, а потом отбил: «Ялта. Седьмое ноября. Репарации с Германии».

Они действительно встретились в Ялте (Курт летел через Франкфурт и Киев, Боргин – прямым из Москвы). Боргин Ялту знал плохо и заказал самое дорогое, что предлагали: гостиницу «Ореанда», из которой толком не было видно ни гор, ни моря.

Встреча была суматошной и бестолковой. Выпив, Курт, терзая пальцами череп, вновь заговорил про самоубийство. Боргин вышел из номера и позвал швейцара.

– Цветов, – сказал он.

– Каких цветов? – оторопело спросил ветеран госбезопасности, вытягивась в струнку перед господином в тонком красном свитере.

– Черных, – сказал Боргин и сунул швейцару в руку стодолларовую бумажку.

Уже давно пьяный, Боргин откупорил шампанское. Курт сидел на постели и, потирая грудь, медленно расстегивал ворот рубашки. Боргин, жалко и нервно промахиваясь, разлил вино в дешевые бокалы. Он стал рассказывать, как его хотели убить на чужой даче на Сходне, да как он выкрутился, и все пытался перевести Курту странное слово «Сходня». Курт молчал и временами непонятно взглядывал на Боргина.

В дверь постучал швейцар. Натужившись, он держал перед собой охапку темных роз в стеклянном кувшине.

– Сорт «Черный принц», – прошелестел он Боргину. – Из царских оранжерей, свежайшие. За кувшин уж извините.

Швейцар явно жалел, что слово «господин» еще не вошло в русский оборот.

Боргин посмотрел на розы и даже потрогал их. Каждая была в бархатном камзоле. Он махнул швейцару рукой, навсегда, как он думал, выпроваживая его из своей жизни.

– Это мужские розы, – сказал он, поворачиваясь к Курту. – Посмотри – каждая, как Гамлет...

Курт, не глядя на него, стаскивал рубашку.

– Уж не думаешь ли ты, что я гомосексуалист? – сказал он, ложась на кровать и отворачиваясь к стене.

– Нет, – сказал Боргин, посмотрел на китайски желтую в свете ночника спину Курта и вышел на балкон.

Выл ветер. Было очень свежо. «Юг, – подумал Боргин. – Юг».

Он долго стоял на балконе, глядя на пустую набережную. Какой-то мальчишка тискал девочку в телефонной будке; милиционер размышлял, вмешаться или не вмешаться; пробежал пес. Что-то, скорее всего лист с платана, почти бестелесно прошумело мимо Боргина. «Мертвая голова, – прошептал он, – мертвая голова».

– У меня никогда не было одной необыкновенной бабочки, – начал он, вступая в комнату, кисло пахнущую алкоголем и сигаретами, и тут заметил, что Курт спит.

На рассвете Боргин ушел в центр, нанял машину кататься по горам, на виражах тупо совал водителю хрусткие купюры и говорил: «Круче, круче...» Водитель сдерживался, чтобы, Боже упаси, не хмыкнуть, и виражи закладывал аккуратно.

Вечером, когда Боргин вернулся в гостиницу, Курт исчез; номер был проветрен, и в нем как-то обнадеживающе пахло морем. В дверях возник швейцар и развязно спросил:

– Кинь грусть – не желаете?

– Пошел вон, – сказал Боргин, не оборачиваясь.

– Сволочь прихотливая, – шепнул сам себе швейцар в коридоре, плотно прикрыв дверь.

Наутро Боргин вылетел в Москву. Самолет задерживался черт знает почему, и Боргин уныло думал, что даже с его деньгами он ничего не может с этим безобразием поделать и что именно из-за денег в Москве его, вероятнее всего, и убьют.

Однако в Москве его не убили. Более того, в лавке на Арбате он купил вожделенную «мертвую голову» и повесил ее в спальне на той стене, где собирался устроить камин. Курт снова стал писать ему по электронной почте и признался, что в Ялте он подошел к некоему «пределу», и Боргин шутливо спросил его, что это был такой за предел, и Курт написал что-то умное про Гамлета, и про мужские розы, и про то, что Шекспир, вероятно – и так далее, и Боргин отвечал ему на это «и так далее», и Курт совсем размяк и стал писать, что не ко всему можно быть готовым, а Боргин подтвердил, что ко всему готовым быть ни в коем случае нельзя, и Курт написал что-то замысловатое про свой взгляд на дружбу и добавил, что Боргин – первый, кому он это все говорит.

И так они писали, писали друг другу, обнажая в пустой переписке заповедную породу все глубже, а на самом деле непоправимо взаимно отчуждались в уже совершенно лишних откровениях – безвозвратно, как холодные корабли в ночи, уходя друг от друга все дальше.

1994 – 1995

ДИОНИС

В полукруглые ажурные окна бил норд-ост. Казалось, за окном стенает немало-немного сама стылая тьма. За речкой, в парке Месаксуди, хлопали редкие выстрелы. Хотелось забиться в какой-нибудь чулан без окон, закрыться с головой теплым одеялом, свернуться в комочек и пролежать так – пусть даже без сна – до тех пор, пока не наступит туманное утро.

Однако недолговечная плоть оказывалась все же сильнее, чем страх, ужас и вообще чем вся эта вселенская птица-заваруха, краем крыла накрывшая Ялту.

Доктор объяснялся с Зинаидой Зюкиной. Объяснение получалось долгое и путаное. Барышня Зюкина, расцветшая не ко времени, в годы, когда все старое вдруг лопнуло со звоном, казалось, не замечала ни сумрака ночи, давившего тусклую коптилку, ни выстрелов, глухо прокатывавшихся в парке. Плакать бы ей сейчас в материнские колени, айкая и вздрагивая, – так нет, горят глаза, нежно светится оголенная шея, и слова так и нижутся одно на другое.

– Моя любовь, Василий Егорыч, – бойко тараторила она, стреляя глазками, – это потаенный фиал. А ваша – стоящий на виду грубый сосуд. Зачем же вы хотите поставить их рядом? Мой фиал обязательно разобьется, нет, непременно разобьется...

Доктор слушал, подперев голову кулаком, уставив глаза, как старый кот, на свет, на коптилку. Временами отрывался и украдкой смотрел то на розовую шейку барышни, то на страшные черные окна. В голове бродили мутные мысли:«Повалить на диван... Разодрать платье... Фиал... Поговори тут у меня...»

«Там-дзинь-триннь!» – постучали в стекло веранды. Доктор вскочил. Барышня Зюкина не тронулась с места, только провела легонько язычком по разгоряченным губам, торопливо глянула в трюмо – бандиты ли, насильники, не в том дело, вопрос – хороша ли; но в зеркале отражалось все так туманно и неясно, что не поняла.

Доктор выждал: может, пронесет, уйдут, но во второй раз постучали громче и нетерпеливей.

Сквозь стекло он увидел два мужских силуэта. Разглядев доктора за шаткой защитой теней, фигуры заплясали, как висельники.

Как-то дико жмурясь, боясь не самого револьверного дула, а одного лишь его хамского вида, доктор открыл.

– Досками, что ли б, обшился, лешак бородатый, – сказала первая фигура, вваливаясь на полутемную веранду. – Тебя ж за версту видно, как ты тут серенады поешь.

– Ох, это ты, Иван, – рассердился доктор. – Ну вот, вечно вот так вот, как снег на голову, ночью, а тут стреляют кругом... А это кто? – и он покосился на застенчиво лезшего в дверь вьюношу.

– Санча Панса моя. Из благородной семьи, в Крым приехала легкие поправлять. Без штанов осталась, ко мне в дом с воровским делом полезла, я ее выпорол, а потом на довольствие поставил.

– Говорил уже, Иван Иоганнович, – пропищал вьюноша, – что это за слова такие: «выпорол», «без штанов». Я и уйти могу.

– Уходи – не заплачу, – кинул, не оборачивась, тот, которого доктор называл Иваном, а его спутник – Иваном Иоганновичем. И действительно, уходить вьюноша не стал, а начал пробираться в комнату, из которой, как цветок сливы из золотой вазы, высовывалась барышня Зюкина, заслышавшая двух интересных мужчин.

– Поесть собери, Вася, – распоряжался Иван Иоганнович, доставая из карманов темные бутылки. – Я тут мадеры принес из ливадийских погребов. Матросики мои грабят и со мной делятся.

– Да ну тебя к шуту, – рассердился доктор окончательно, – что я тебе, Дуня-кухарка?

– Не злобься, не злобься, я выпить принес – тебе и барышне. Вас как зовут? Очень приятно. Барон Будберг.

– Так уж и барон, – пискнула Зинаида восторженно, но барон, совершенно не слушая ее, каким-то месмерическим образом переключил разговор на своего молодого приживалу, обнял доктора за плечи и увел в самый темный угол, к креслам.

Доктор оглядывался на барышню, как собака на оставленную кость, но шел достаточно покорно.

– Так нет поесть, что ли?

– Тише ты... Еще ее кормить... И этого твоего... голодранца... Потом достану...

– Жадный. А что есть-то?

– Сала принесли и, – доктор воровато оглянулся на молодых людей, – колбасы немного. Хлеб тоже есть.

Он сглотнул слюну.

– Не кормишь, значит, серенадницу свою? Что ж мы, под кроватью питаться будем?

– Посидит еще немного – и выгоню... Их дом за моим – следующий... А вот с голодранцем, как хочешь, – снова рассердился доктор. – Что за манера незнакомых людей по друзьям таскать!

– Он смирный... Скажу:«Спи голодный» – уснет... Ну, давай пока так – мадерки...

Открыли, выпили.

– Ты что же, Вася, спать с нею собрался?

Доктор махнул рукой:

– Каждый вечер у Месаксуди стреляют, повеситься, Ваня, можно. Тут не то что с ней – с курицей спать будешь.

– Да, скучно, скучно... – (барон – скороговоркой). – Мы с тобой сколько не видались? Со среды? А?

– Со вторника. Как ты там – не обижают?

– «Не обижа-ают», – передразнил барон. – Как месяц назад отдал дом под лазарет матросне, так новая жизнь началась. Живу в башенке – не той, что на Ай-Петри смотрит, а в той, что над морем. Олеандры к себе забрал. Комнатка одна, душно, как в оранжерее, а у олеандров, говорят, цветы ядовитые. Глядишь, сдохну скоро.

– Предрассудки... Голова болеть должна, а больше ничего...

– Голова у меня, Вася, от матросского спирта болит и от воя ихнего же. Хоть разбирай башенку по камешку и строй наново в горах где-нибудь.

– От них не спрячешься...

– И снова чушь говоришь, доктор. Горы тут хоть и маленькие, а немереные. Уйти можно.

– Уходи.

– Скучно... Что в горы уйти, что от олеандра подохнуть, что от пули... Все скучно. Так сколько мы с тобой не видались?

– Последние мозги пропил. Со вторника.

– Так, стало быть, со вторника? С тех пор еще раз мертвяк у меня в бухте всплыл.

– Ах, оставь, оставь, – замахал руками доктор, – давай лучше еще выпьем...

Выпили.

– Так вот, я все же о мертвяке. – (Доктор страдальчески зажмурился.) – Это тебе на закуску вместо колбасы, которую ты таишь.

– Я трупы резал, меня не стошнит.

– Ну и ладно... Так вот, выхожу на балкон, смотрю – благодать. Это когда солнце вылезло, помнишь? Вода в бухте зеленая, прозрачная, единородная, знаешь, такая, и тут пятно черное, растопыренное. Смотрю и думаю:«Чему бы это быть?» А уж знаю ответ, знаю: офицер императорского флота. Сел я на перила, курить стал. Через час выбросило мертвяка на берег. Спустился к нему – лейтенант, а лица не разберешь уже. Может, мы с ним за одним столом «Абрау-Дюрсо» пили. Или, может, ты его от триппера лечил. Ну так, молодой еще мальчишечка. А под ухом рубец багровый. Второй мертвяк уже за две недели, между прочим.

– И больше может быть...

– Да... А что ты думаешь, Вася, – барон наклонился к доктору, и в глазах его зажглось по безумной искре, – не могут ли мертвые восстать?

– Ты в церковь когда в последний раз ходил? – тоскливо спросил доктор.

– До войны еще. Нет, ты послушай, – барон стал легонько поглаживать доктора по руке, – сказано же Христом:«Приду к вам яко тать в нощи». Не в наши ли времена ждать явления сего? И отчего бы мертвякам этим из воды не повылезать, тужурки свои не отряхнуть и не перерезать красную сволочь к чертовой матери? А? А?

– Все-то у тебя в голове, Ваня, путается, и второе пришествие, и Корнилов-генерал... С ума ты сходишь, вот что я тебе как врач скажу.

Барон рассмеялся, будто услыхал нечто необыкновенно приятное.

– Схожу, схожу. Да я уж давно сошел. Помнишь, когда я перед войной замок свой строил, меня вся Ялта сумасшедшим называла?

– Правильно называла... Дом – дикий... Над морем... Башенки эти... Шпили... Опер насмотрелся... Одно слово – барон... В таком домике поживешь – в сумасшедший переедешь... Я когда у тебя оставался, ни одной ночи толком не спал. Море, понимаешь, шипит и булькает, ветер воет... Неврастеник ты.

– Слушай, а сколько народу красные-то в море потопили? Тысяч сто будет?

– Может, и будет... Кто их считал... Мадера откуда? Хорошая, словно и вправду царская.

– А и есть царская, – расхохотался барон. – Главные погреба шваль эта давно раскурочила, а еще малые есть, тайные как бы. Я-то все знаю по старому времени – ты понимаешь, вот и научил товарищей, а они мне этой мадеры надарили, хоть олеандры поливай.

– Подлец ты, Иван, если правда это...

– А что подлец-то? Тебе что, романовской мадерки жалко? Может, ты и за государя императора свечки в церкви ставишь?

– Свечек не ставлю, а все же нехорошо... А тебе и вовсе неловко. Ты ж барон, как-никак.

– Ну их в болото, Романовых твоих. Никогда не любил. И титул не они моим дедам давали. Я тут императрицу Марию Федоровну видел.

– И снова врешь. Не мог ты ее видеть. Рядом с тобой они сидят, в «Дюльбере», это верно, но только Совет их никуда не пускает, это тебе любой скажет...

– Нет, нет, правду говорю, Вася, – зашептал барон в непонятной ажитации. – Я матросикам, которые увечных своих ко мне привозят, говорю:«Так, мол, и так, дом свой честно отдал советской власти, хочу на кровопийц Романовых посмотреть». И взяли они меня с собой в «Дюльбер». Вижу: сидит старая императрица на веранде, книгу толстую читает. К ней листик с платана прилетит, а она, не глядя, рукой махнет, мол, пошел прочь, и дальше читает. Девушка к ней вышла, а она и внимания не обращает. Все в книгу, все в книгу.

– Библия, наверно.

– Наверно. Посмотрел и ушел. Да, поесть бы.

Доктор заворчал, поднялся, пошел к молодым людям.

– Зинаида Николавна, домой. Мамаша ваша волноваться будет.

– Ах нет, еще самую чуточку, мы не договорили...

Но доктор уже стоял, согнув руку колесом, и вся его фигура непреклонно говорила:«Вон!»

Сторожко прошмыгнув черным ходом и сдав барышню на руки ее столь же манерной мамаше, которая не преминула спросить: «Зиночка, а ты покушала что-нибудь у доктора?», он вернулся в дом, зашнырял проворной мышью по шкафам, косясь на барона и на вьюношу.

– Вы, мой друг, спать идите, – говорил барон, морщась от горького дыма самокрутки, – у нас с доктором свои дела.

– И снова отставляете меня. Разве это благородно?

– Эх, недотепа, кто же тебе поверит, что ты из дворян! Как был вор-переплетчик, так и остался. Поди, говорю, в другую комнату, там на кровать тихо ложись и спи.

– Он не вшивый у тебя? – спросил доктор громко, роясь в шкафу.

Вьюноша зашипел, а барон сказал:

– Я его через день мою. Тебе что было сказано? Шагом марш, арестантская рота!

Уселись. Сопя, готовясь к насыщению, доктор нарезал колбасу и сало. Покосился на окна, достал хлеб.

– Тебе, дура, говорю, зашей досками веранду.

– Обысками замучают. А так – человек честный, но бедный, ни от кого не прячусь.

– Честный, но бедный... Афоризмами заговорил.

– Выпьем давай.

– Краденая ведь.

– А плевать. Вся жизнь краденая...

Выпили и стало веселее.

– Так что за дьяволенок-то? Правда вор?

– Что вор – правда. Ко мне в башенку залез. Я его хвать по загривку бутылкой. «Не убивай, дяденька! – кричит. – Я из благородной семьи». Разговорил его. Переплетчиком в Москве был, потом на Юг понесло, легкие слабые, говорит.

– Может быть... Похоже...

– Воровать стал. Ну я его прикармливаю вот уже пять дней, за собой таскаю. Мне Санча Панса нужна. Какая вот, например, из тебя Санча Панса? Смирения в тебе нету, а есть одно упрямство. А он приятный, покорный...

– Ох, Ваня...

– Ну да я тебе лучше про другое расскажу. Помнишь, у меня в садике над обрывом Дионис мраморный стоит? Из Италии мне его привезли? Ну не Микеланджело, но ничего, красивый мраморный кадет. Голый к тому же. Да. И вот стукнуло мне третьего дня в голову: а не расколошматили ли его матросики прикладами, каждую ночь ведь буйствуют? Дай, думаю, схожу гляну. А дождь как раз кончился, подсыхать стало и даже как бы немножко парить. Подхожу я к Дионису – а у него все лицо зареванное.

– Капли, что ли, не стекли?

– Стекли, стекли, то-то и удивительно! Знаешь, как иконы Божьей Матери к беде плачут? Вот и мой разревелся.

– Поздно он ревет. Сделано уж все.

– А, может, не все еще, Вася, и сделано-то, может, самое страшное-то еще на нас как раз и прыгает тихо, как собака непотребная, дьявольская и неуемная!

– Мистик чертов... То сядет над обрывом и говорит:«Не мешайте мне, я с демоном вечернего моря разговариваю». То выспрашивать всех начинает, как богам языческим молиться. Теперь Дионис у него заплакал, как Матерь Божья. Тьфу...

– А ты не горячись, не горячись, Вася! Вечернее море – оно особое, оно разговаривает, в нем вечность растворена, ее видеть можно... И боги языческие не глупее Феофана Затворника. А про Диониса – точно тебе скажу, к особой беде это. У него слеза одна – прямо к реснице пристала...

– Ну тебя к лешему, на ночь всякую чушь рассказываешь, мало тут без тебя стреляют... Море разговаривает у него... Офицеры, *офицеры* всплывают, а он – магия, слезы...

– Приедешь – посмотришь. Может, Дионис мой и в сухую погоду плакать начнет.

– Если в сухую – тогда поверю.

– Вася! Давай перед Дионисом на колени вместе, переплетчика моего зарежем, в жертву принесем, а Дионису молиться станем.

– Юродивый!

Доктор вскочил, зашагал по комнате, потом хмуро разобрал диван.

– Ложиться давай. Ты вон – у стенки...

Легли. Слились с ночью, и завывание норд-оста за окнами перестало казаться уж таким страшным.

– Вась, – вдруг тоскливо сказал барон, – а может, все обойдется как-нибудь?

Доктор долго молчал, потом буркнул:

– Не знаю.

Помолчал еще, потом сконфуженным голосом:

– Барон, а барон, а если мне к матросам твоим приехать. У них, поди, врач там ветеринарный, а мне есть нужно. Противно, конечно, но все ж людей лечить. И колбаса у нас будет, – закончил доктор заискивающе.

– Это просто, – сказал барон. – Завтра со мной поедешь. Непротивленец.

И тут же захрапел.

Уснул и доктор.

До имения барона добрались быстро. Утром барон был сдержан, попросил только кипятку себе и переплетчику, велел доктору быстро собираться, потому что «через час туда пойдет мотор, а пехом три часа по горам кружить».

Доктор ахнул:

– Мотор-то у тебя откуда?

– Краденый.

– Как краденый?!

– Не я, не я. Красные у графини Паниной украли.

Продвигаясь быстрой рысью к набережной, барон на ходу объяснял доктору, что на ночь матросы приезжают в Ялту – орать в Совете и заниматься непотребством с проститутками, а утром в бесчувственном состоянии возращаются в дом с башенками.

– Ты смотри, – учил барон доктора, – у них больных много. Половина симулянты, половина с сифилисом. Вот и лечи себе на пользу.

В переулке у одного из самых приличных и громадных домов в городе восставший народ действительно возился вокруг авто.

– Барон пришел! – обрадовались матросы.

– Опять пьяные, скоты? – дружелюбно адресовался к ним владелец имения. – Снова мне машину вести?

Барон затащил доктора в кабину, посадил переплетчика к нему на колени:

– Он у меня нежный. А эти мерзавцы в кузове затопчут.

По дороге доктор только ахал на крутых виражах, которые закладывал трезвый барон, и тоскливо прислушивался к стонам, рыку и ржанью из кузова.

Заложив последний вираж, барон остановил машину точно перед цветником, словно поставил шахматную фигуру на светлый квадратик, небрежно оглядел пошатывавшееся воинство и повел доктора к коменданту.

– Сифилис лечишь? – спросил комендант уныло.

– Все венерические заболевания, – заверил доктор.

– Не поможет – застрелю, – сказал комендант и выжидающе уставился на доктора оловянными глазами.

– Лечение сифилиса требует длительного времени, – отвечал изворотливый доктор.

– Ну а как не болеть им, проклятым? – спросил комендант, скучая.

– Главное – профилактика, – начал доктор. – Видите ли, как вши переносят тиф, точно так же и женщины определенного образа жизни, ну, проститутки, являются разносчиками сифилиса...

– Во, – перебил его комендант, оживляясь. – И я так же думаю. Давно говорю братве:«Перестрелять блядей надо, и без них баб хватает».

– Да, – быстро нашелся доктор, – но как только чистая женщина отдастся нескольким мужчинам, она тут же становится источником инфекции.

– Что же, не стрелять блядей-то? – думал вслух комендант. – Слышь, Петро, – крикнул он куда-то в глубь особняка, – доктор говорит, что если мы на гимназисток перейдем, так они тут же в блядей обратятся. Так что блядей можно и не стрелять. Я тебя правильно понял? – обратился он к доктору за поддержкой.

– Абсолютно точно, – отвечал доктор, думая про себя, что надо будет поставить свечку Николаю-Угоднику.

– Значит, работайте, товарищ, – подытожил комендант. – Доктора у нас еще не было. Расплата натуральным продуктом. Ты чего больше любишь? – вдруг задушевно спросил он, склоняя голову набок и с симпатией глядя на доктора.

– Колбасу, – ответил доктор машинально, покраснел и добавил, – и хлеб, и сахар. И чай с махоркой, – заключил он нелепо, уж вовсе теряясь.

– Работай, – торжественно сказал комендант, поднимаясь, – и республика тебе все даст.

Полдня доктор осматривал наличествующих больных. Он открыл у симулянтов сердечные и легочные недуги, жертвам Ве-

неры пообещал верное исцеление и к обеду сделался весьма популярен.

Похлебав жидкой каши и закусив ее очень приличным куском сала с хлебом, доктор удовлетворенно вздохнул и вдруг вспомнил, что всем этим обязан барону. Он поднялся на второй этаж и постучал в дубовую дверь.

– Ангел смерти на проводе, – ответил тонкий голос, в котором доктор не без труда признал голос переплетчика.

– Мне Ивана Иоганновича, – сухо сказал доктор.

– А вы кто? – спросили из-за двери.

– Ангел скорби, – промолвил доктор со вздохом.

За дверью пошушукались и голосом барона крикнули:

– Заходи.

Доктор вошел и обомлел.

Посредине комнаты в окружении олеандров стоял голый переплетчик. На голове у него был скверно сплетенный лавровый венок, на шее болталось ожерелье из головок чеснока, на животе синей масляной краской был нарисован вопросительный знак, а на чреслах... на чреслах не было ничего. Барон сидел на массивной кровати, скрестив ноги, и скептически смотрел на переплетчика.

– Бог знает, что ты творишь, – возмутился доктор. – Эта твоя декадентщина матросам не понравится. Ты хоть представляешь, что они могут подумать? Ты же его ... эксплуатируешь, – выговорил доктор с отвращением.

– «Эксплуатируешь»?! Он у меня из переплетчика до Диониса дорос! Как ты думаешь, ему идут цветы олеандра?

И барон, живо вскочив с кровати, занялся цветами. Доктор потоптался и вышел. «Нехорошо получилось, – мелькнуло у него в голове. – Покушать надо было что-нибудь ему принести».

Он даже хотел идти на кухню и просить там чего-нибудь христа-ради для барона, но не успел он сложить в голове соответствующей фразы, как его взяли за рукав и ласково спросили:

– Доктор, а нельзя мне из сифилитиков в чахоточные перейти?

В пятом часу, чуя сумерки, когда просто невозможно идти через пугающие горы, доктор засобирался домой. Ходил по ком-

натам, тоскливо спрашивал:«А в Ялту мотора не будет?» «Будет-будет, – успокаивали его, – братва уже бреется».

У комнаты коменданта его поймал барон.

– Не дергайся, Вась, – сказал он с усмешкой. – Я мотор поведу. Они мне верят, а друг про друга думают, что с обрыва авто свалят. Пойдем лучше на Диониса посмотрим.

– Какого еще Диониса, – досадливо отмахнулся доктор.

На лице барона обозначилось душевнобольное выражение. Тут к ногам доктора упал увесистый сверток:

– От коменданта, товарищ!

Не обонянием, но нутром голодного человека доктор учуял в свертке *колбасу*; ему стало невероятно стыдно перед бароном, которому он был обязан всем своим громадным новым приработком, и доктор засюсюкал:

– А, впрочем, давай и посмотрим, интересно, давай, давай, покажи.

Барон повел: через загаженную прихожую (паркет стал червив от окурков), через разбитые двери (веером), через чахлый, продуваемый сад на самый обрыв, на скалу.

Дионис стоял, нагло подбоченившись и выпятив тугой живот атлета (доктор подумал:«Словно запор у него. Неловко, право»), смотрел туда, где кончался рыжий мыс. Вечерело, мрамор налился свежей сиренью. У доктора отчего-то засосало под ложечкой. Барон подошел вплотную к статуе, присмотрелся; вздохнул с облегчением:

– Плачет.

Доктор полез смотреть сам, злясь и на барона, и на матросов, и на Диониса. Ахнул. Под белым лбом на густо-сиреневой щеке сидели три круглые слезы.

– Вот и я, Вася, думаю, к чему бы это, – тихо-торжественно сказал барон. – Уж, казалось бы, дальше некуда, а он видишь, что пророчит.

– Это... конденсация влаги, – забормотал доктор. – Камень, понимаешь, нагревается за день, а к вечеру того самого...

Барон только покачал головой с видом полного превосходства.

– Так ты небось пять минут назад его сам и обрызгал! – рассвирепел доктор. – Не надо мне твоего Диониса и... *колбасы*

не надо, – закончил он с трудом. – Мефистофель провинциальный, черт дешевый!

– А хочешь, Вася, – сказал барон с нехорошим смешком, – мы сейчас слезы ему вытрем, а потом я с тобой пять минут в сторонке постою – без фокусов, а затем сюда вернемся?

– Хочу! – остервенился доктор. – Только чтоб все на виду было и чтоб Ганимед твой проклятый, переплетчик твой, мимо не шмыгал.

– По-честному, Вася, по-честному.

Доктор, сопя, сам вытер слезы грязным платком, пощупал щеку Диониса для верности: сухо и холодно. Отошли к балюстраде над морем, закурили. Доктор нарочно стоял спиной к морю, чтобы видеть статую: разжигал в себе азарт естественника. Барон равнодушно повернулся спиной и к Дионису, и к доктору.

Смеркалось быстро. Уж совершенной чернотой отдавала глыба Ай-Петри наверху.

– Что, прошло пять минут? – спросил барон, не оборачиваясь.

– Да, – сухо сказал доктор.

– Так пошли.

Барон посмотрел еще мгновение на темноватую воду, запустил в нее окурком и решительно зашагал к статуе.

Доктор не отставал. Но спешил он напрасно, потому что барон остановился в трех шагах от Диониса и сказал:

– Проверяй. Я и так вижу.

На этот раз капля была всего одна, но безошибочная, свежая, честная капля, прямо под правым, уже абсолютно сиреневым, глазом.

Доктор ощупал всю статую, даже (самому стало противно) заглянул в промежность. Все, кроме щеки, было сухо.

– Неугодно ль этот финик вам принять? – сказал барон из Чехова и засвистел.

Доктор дико огляделся.

Тьма лезла на мыс, плотная завеса легла над морем, и только над горами слабой надеждой вился дымок мглистого заката. Повеяло нехорошим – перепревшими водорослями, быть может.

– Теперь мертвяки снова полезут, – сказал барон как бы сам себе. – Скучно, Вася.

– Ты...того, – забормотал доктор, – я тебе валерьянки накапаю.

– Ах, Вася, какая в восемнадцатом году валерьянка.

– Сырой воздух, понимаешь ты, а мрамор остывает...

– Я все думаю: офицеров кончили, может, и *этих* кончат? – сказал барон тихо, кивая на белый «Дюльбер». – Может, им знак какой подать?

– Ну подашь ты знак, – заговорил доктор быстро, – ну увидят они из окон, платком махнут, а дальше, дальше-то что? Чему быть...

– ... того не миновать, – закончил барон. – Страшно, Вася.

Доктор на мгновение закрыл лицо руками.

– Уедем, а? – простонал он. – До Одессы доберемся, а там на румынскую границу. Или дубок наймем до Констанцы, а?

– Не-ет, Вася, – отвечал барон смешком, – мне любопытно посмотреть, к чему это Дионис плакал. Может, и впрямь, второе пришествие чует?

– Каша, каша, – почти кричал уже доктор. – Дионис, Христос, Романовы! Да что тебе толку в тайнах этих, когда жить – *страшно*?!

– Ты не видел, Вася, чем я Диониса-то обсадил? Буксом. Вечнозеленый такой, с листочками копеечными и плотными. Христианское растение, между прочим. Католическое, однако. Но я всегда был против разделения церквей, – шептал барон. – А может быть, – пригнулся он к самому уху доктора, – Дионис-то мой и есть на самом деле *Христос*?

Доктору спасательным кругом выплыла из темноты духовитая церковка, где воск тает, где хор – обвалом тихим, где поп – дребезжаньем колокольчика, где уютно, где – свет теплый... Он затряс головой, замотал руками:

– Не надо, не надо, Иван, не кощунствуй, не юродствуй...

– Пойдешь со мной великих князей выручать? – шепнул барон.

Обессилев, доктор присел на бордюр с католическим буксом:

– Ты что – то пришествие, то князья...

Заплакать хотелось.

– Эх, Вася, Вася...

Барон пробежался по площадке, схватился за балюстраду, слышно щелкнул зубами, как пес, сказал:

– В дом пойдем. Страшно здесь.

Доктор искоса поглядывал на вселенскую темень, топившую уж и сиреневое, погребавшую все в беспросветном мраке, нывшую ветром: где море, где небо? Поежился и последовал за бароном в дом.

Поднялись в башенку. Переплетчик сидел на кровати, обхватив колени, мрачно глядя перед собой.

– Я сейчас мадерки принесу, – шелестнул барон, – а ты вокруг него – зайчиком вокруг елки, венки ему вей и величальную пой. Он у нас сегодня Дионис!

Хлопнула дверь.

– Вы из Москвы будете? – лживо заулыбавшись, спросил доктор.

– Из Вереи, – глухо отозвался переплетчик. – В Москве в ученье пошел, и вся жизнь через это пропала.

– Зачем же вы так, – юлил доктор, – ученье свет, а неученье – тьма...

– Свет... Видали б вы этот свет, – нехорошо засмеялся переплетчик. Потом недобро посмотрел на доктора:

– Я-то слышал, как вы вчера колбасу жрали. Чавкали. А я голодным спать лег.

– Но видите ли, – защищался доктор, – незнакомец, и вдруг ему колбасу... Время такое.

– Этот шнырь проходу не дает, – злобно продолжал переплетчик. – То ему Диониса, то еще кого... Я уж запутался.

– Со странностями человек, – соглашался доктор, криво улыбаясь, – но незаурядного ума, и душа – чувствительности необычайной.

Переплетчик открыл было рот, чтобы сказать что-то, но тут возник барон с мадеркой.

Налили по стакану, выпили, не морщась. Выпили по второму – немного ошалели.

– Царская, – сказал переплетчик, глупо ухмыляясь.

– Ну, Дионис, а скажи я:«Пойдем выручать вдовствующую императрицу Марию Федоровну, великих князей Николая Николаевича, Петра Николаевича и Александра Михайловича, великих княгинь Ольгу Александровну, Ксению Александровну и...»

– Пошел бы, потому что я Дионис!

– Ох, молодец, ох, грек, ох, переплетчик! – кричал барон и целовал Диониса в губы.

Потом пили еще, и доктор помнил только, как переплетчик танцевал что-то чрезвычайно ритмическое, покачивая плечами, а барон ползал по полу, собирая не то олеандровы цветы, не то лепестки просто...

Очнулся доктор от пинка в бок.

– Вы послухайте, что хлопчик кажет, – деликатно сказал кто-то.

Доктор разлепил глаза. Дело происходило уже на первом этаже, в зале.

Дионис застегивал флотский ремень на флотских же брюках; тельняшка свисала с его узких плеч, жидкие волосы совершенно разметались.

– Слухайте голос свобожденного народа! – торжественно объявил некто грозный.

Дионис сильно плакал. Слезы текли по его щекам до самого подбородка, как у обезьяны в балагане.

– Я, – едва выговорил он в рыданиях, – я...претерпел. Измывательства...с самого учения. И сейчас. Раздевайся снова, говорит, ты Дионис. Господи Боже, товарищи, почему же снова? То так, то этак. И лепестки сыплет всюду. Я из Вереи сам. У нас там колокольня выше московских. А тут мне – идолом. Нелепо. Я какие книги переплетал! Филарета Московского, – стал он загибать пальцы, – Феофана Затворника, Тихона Задонского... Да, – ударил он себя в грудь, – был грех, соблазнялся раскольниками, Аввакумом-протопопом – было...

– Ты к делу, братишка, – посоветовали ему.

– А я и к делу! – обиделся переплетчик и потерял мысль. Как и доктор, он был еще пьян. – Так вот я и говорю – лепестки сыплет. И всякое такое прочее. А я из Вереи, мы – исконно-православные...

– Так скажем спасибо товарищу, – сказал комендант медленно откуда-то из глубины, будто сам Вельзевул, – за то, что он кончил гада, втесавшегося в доверие революции и замыслившего спасти от народного суда недобитых Романовых. Давайте плевать на труп гада, товарищи, все по очереди.

Словно в иллюзионе, доктор увидел труп барона, невесть откуда взявшийся, с ужасной раной на голове, с раззявленным, скособоченным, слюнявым ртом, неподвижными широко раскрытыми глазами.

– Плюйте! – сказал комендант.

И толпа сорганизовалась, и доктора подняли и поставили на ноги, и когда его проносило мимо барона, он сделал какое-то дуновение губами, а потом снова было затмение, и он очнулся только в кузове грузовика, оттого, что кто-то шлепал его по щекам и спрашивал:

– Доктор а доктор, эй, колбасу-то свою возьмешь?

– Возьму, – сказал доктор отчего-то совершенно спокойно.

Пока грузовик пьяно топтался на месте, доктору показалось (может, это еще играла царская мадерка или тени шутили), что статуя Диониса во дворе была разбита в мраморную щепу.

Годом позже доктор и Зинаида, на которой он женился, так и не разодрав ей платья, спешно паковали чемодан.

– Пускай лучше вещи твоей мамы войдут, – шипел доктор, – а не твои. Тебе я еще куплю, а твоей маме – отказываюсь.

– Гусь ялтинский, – спокойно сказала Зинаида. Уже все было давно забыто – и про фиал, и про сосуд. Она была беременна на седьмом месяце и беспокоилась, как бы ребенок не родился, прежде чем они окажутся в Константинополе, и оттого старалась не волноваться понапрасну. Вообще она сильно изменилась.

– Быстрее, Василий, – сказала она, отбрасывая в сторону блузку и рассеянно подходя к окну. – Бог его знает, когда будет дей-

ствительно последний пароход. Опять в парке Месаксуди стреляют...

– Банды, – проговорил доктор, пыхтя, запихивая в чемодан непослушные вещи, мысленно уже переживая скученность, тещу, антисанитарные роды и неурегулированное гражданство.

– Как в тот вечер, – сказала Зинаида, роняя или даже скорее бросая на пол ненужную соусницу с блеклым цветком неопределенного розоватого вида. – Помнишь? Когда барон с каким-то молодым человеком завалились к нам – к тебе – тогда? Ты мне через день сделал предложение, помнишь? – Она засмеялась. – Явился невесть откуда на рассвете – и сразу к нам, просить моей руки. – Она посмотрела на свой живот, выдвинутый, как ящик от комода. – Мама даже сначала не поняла. Кстати, ты упаковал икону? Нас ею благословляли. Не надо ее оставлять. Она нас и в Аргентине выручит.

– Почему в Аргентине? – спросил доктор натужно (ночная рубашка, хоть и маленькая, в чемодан влезать не хотела).

– Кто знает, где мы окажемся, почему и не в Буэнос-Айресе? Мы же эмигранты, – и Зинаида как-то грубо раздавила ногой соусницу, видно, думая о ребенке, который пока что не только не имел гражданства, но и не был уверен, что таинство его рождения не состоится где-нибудь в трюме корабля или вообще под Галатским мостом.

Скрежет неприятно расстроил доктора.

– Зачем же портить вещи? – сказал он сварливо, показываясь на мгновение из-за чемоданной груди. – Кому-нибудь да послужат.

– Красным? – произнесла Зинаида с какой-то финальностью в голосе, как это только она одна умела. – Пропадай оно все пропадом. – И она спокойно оглядела веранду с ажурными окнами, где – она была уверена точно – ее ребенок никогда не будет учиться ходить.

– Слушай, – сказала она вдруг, – я забыла, как погиб твой друг, тот – барон?

Доктор молчал.

– Ну напомни, – настаивала Зинаида. – Он все ж как-никак стоял у истоков нашего романа.

– Золота у нас нет, – приговаривал доктор, наседая на замки, – тещиных вещей немного. Отчего ж так тяжело?

– Подожди, – глаза Зинаиды округлились, – а ведь это замечательно. Пароход заходит в Ялту по требованию императрицы-матери, а разве не ее собирался освободить твой барон? Я помню, ты мне что-то такое рассказывал. Мистика!

– Дура! Дура! Дура! – закричал доктор, бешенно стуча по чемодану, который не желал закрываться. – Дура, дура, сто тысяч раз, миллион раз – дура!

Но он вспомнил о ребенке, и они помирились, прежде чем успели высохнуть ее слезы, и доктор преувеличенно ласково велел ей попросить маму поторопиться, а она напомнила ему, чтобы он еще раз проверил, положил ли в карман диплом, потому что в Константинополе, Добрудже, Буэнос-Айресе ли, но только с ошеломляющей неизбежностью он должен был когда-нибудь да пригодиться.

1994

ИРТЫШ

Я приехал в Баку по ничтожному иностранному поводу в начале лета восемьдесят седьмого года. Не помню, кто тогда стоял у власти в Азербайджане, помню только, что люди уже понемногу начинали говорить, упиваясь холодком собственной дерзости.

Мы прилетели в ночь. Баку раскрывался под крылом самолета, как ювелирная лавка. Я устал и хотел спать. Впрочем, слабо, сквозь самолетные сухость и лязг я все же предвкушал новый город.

В дверях аэропорта я нашел молодого мужчину с маленьким, непрофессиональным плакатиком в руках, на котором было коряво написано мое имя.

Я пожал ему руку; он представился. Я не расслышал.

Черная обкомовская «Волга» понеслась в гостиницу. Усталость обрушилась на меня. Я не хотел ничего: ни нового города, ни новых знакомств, ни, тем более, милости этого гребаного обкома. Все, что я хотел, это завалиться в постель и спать, спать, спать – по крайней мере, до раннего утра.

Мой сопровождающий, признаться, смотрел на меня волком: самолет опоздал на три часа; он прождал в бесчеловечном аэропорту; я вяло пытался угадать, что он думал о представителях гордой Москвы вообще и обо мне в частности. По всей вероятности, ничего хорошего он не думал и был прав.

Впрочем, он любил бы Москву еще меньше, если бы знал подлинную причину задержки.

Все три часа мы просидели в трюме самолета во «Внуково», купаясь в поту. Никаких объяснений нам не давали. К конце второго часа стюардесса стала грациозно разносить минеральную воду.

– Не знаю, ничего не знаю, – с насмешливой загадочностью отвечала она на стенания очнувшейся публики.– Скоро полетим.

И эта значительность тона, даже какая-то светскость, с которой она отметала негодования, заставили меня вспомнить слух, который я мимоходом подцепил сегодня утром. Когда стюардесса докланялась до меня, я тихо спросил:

– *Он* уже в воздухе?

Стюардесса моментально замкнула улыбку на ключик и впилась в меня глазами эльзасской овчарки. Я смотрел на нее пристально, не мигая, и даже слегка кривил рот. Она порыскала глазами по моему пиджаку, пытаясь догадаться, какое удостоверение лежало у меня в кармане, но не догадалась, и слава Богу, потому что удостоверение было пустяшное, поколебалась, наконец, нагнулась и нежно шепнула:

– Нет.

Прошел еще час, и, не глядя ни на кого, виляя задом, как собака, несущая палку, стюардесса прошла через весь салон ко мне, наклонилась и с партийной улыбкой шелестнула:

– *Первый* улетел. Через пятнадцать минут взлетаем.

Я кивнул, откинулся и закрыл глаза.

Слух, который я подцепил утром, оказался верным: сегодня из «Внуково» улетал куда-то Горбачев.

Надо было рассказать все это человеку, который три часа прождал в аэропорту не столько меня, сколько Горбачева, но сил говорить и объяснять у меня не было. Я притворился, будто пожираю глазами новые виды. Из окна машины открывались обычные коричневые сумерки большого города.

Когда сопровождающий поселял меня в гостиницу, он говорил по-азербайджански, и я снова не расслышал, как он представился, если он представился вообще.

В номере я первым делом открыл окно. Полумертвый от усталости, я все же наконец понял, что у Баку определенно имелся сильный восточный шарм.

Я не знал, в чем он, собственно, заключался. Может быть, коричневый цвет бакинской ночи носил отчетливый кофейный оттенок, а огни были преувеличенно самоцветны, хотя, казалось бы, что может быть особенно самоцветного в электрических огнях? Может быть, сами линии улиц, обозначенные огнями, как взлетно-посадочные полосы в аэропорту, повторяли какие-то древние, сугубо восточные городские силуэты? Несомненно, бакинская ночь пахла иначе, чем московская или сочинская: возможно, дело было в тысячелетних наслоениях запахов деревьев, племен и трав; я не знал. Пожалуй, что-то доносилось до меня и с бакинских кухонь, запах каких-то особых специй; травы-регана, быть может?

Так или иначе, я слабо улыбнулся и стал устраиваться на ночь.

Отвернув одеяло на койке у окна, я злобно ахнул.

Белье не меняли; чьи-то лобковые волосы – мужские или женские, как я мог знать! – гнездились на простыне.

Я метнулся к кровати у шкафа. Белье на ней было просто скомкано.

Я выругался. Объясняться с горничной во втором часу ночи было бессмысленно.

Поколебавшись, какую кровать выбрать, я наконец выбрал ту, что с волосами (в скомканном белье мне мстился слишком отчетливый запах пота, которого, на самом деле, возможно, и не было).

С немалым отвращением я лег и уснул.

Наутро я сухо выговорил давешнему сопровождающему про белье. Как истинный москвич, я инстинктивно считал его обязательным посредником между мной и местным бытом.

Он побледнел, медленно подошел к стойке и вдруг бросился на красавицу-администраторшу, как Шамиль на русскую колонну.

Мне стало стыдно.

– Подожди, – сказал я, трогая его за локоть, – я сам.

Но он отмахивался свирепо, выхаркивая исполненные ярости слова. Я разбирал «Москва», «обком» и снова «Москва».

В который раз пытаясь пересмотреть свою жизнь, я мысленно покаялся, не переставая, впрочем, вслушиваться в разговор.

Но, как ни старался, имени нового полузнакомца уловить не сумел. Наконец, когда он, отерев низкий лоб, бросил мне:«Сменят белье», я со всей возможной виноватостью в голосе сказал:

– Спасибо.

Он глядел с ненавистью.

– Напрасно я тебя дернул, – продолжал я. – Сам должен был.

– Ничего, – ответил он, *не прощая.*

– Слушай, – сказал я, не любя себя в этот момент, возможно, так же, как меня не любил он, – я вчера не разобрал, как тебя зовут. Я с самолета был. Извини.

Он бегло глянул на меня и буркнул:

– Иртыш.

Уже в машине некоторое время я размышлял, не ослышался ли, и как вообще возможно такое имя, Иртыш? Но, наконец, я услыхал, как обкомовский водитель, небрежно, *снисходя* до молодого сопровождающего, обратился к нему. Ошибки не было. Его действительно звали Иртыш.

Иртыш? Что за странное имя, даже в Баку.

Весь день мы ездили сумасшедшим маршрутом. Я готовил поездку неких важных японцев. Сначала (так велел Иртыш, и я, чувствуя свою бесконечную вину, согласился) мы отправились в совхоз, выращивающий гвоздики. Гвоздик я не люблю по определению, считаю их цветами похоронными, разговоры о теплицах мне никакого удовольствия не доставили, и я твердо решил, что сюда японцев не повезу. Потом мы поехали на фарфоровый завод; заводы *ненавижу*, считаю их адом на земле, полагаю, что рабочие обречены на восстание и что в этом смысле Карл Маркс был прав. Однако директор обещал керамические сувениры; «производство» было чистым и бойким; Горбачев не уставал напоминать о промышленном потенциале Родины, и японцев сюда везти было *надо.* Потом мы отправились на нефтяные вышки.

Вышки мне понравились. Они стояли в ослепительно-синей, какой-то ковровой воде Каспийского моря, никакой пресловутой радужной пленки на воде не оказалось, директор был эле-

гантно одет, горячий ветер летел, вероятно, из самых горьких пустынь Туркмении, через все старое море-озеро, и я решил, что на вышки повезу японцев всенепременно.

Японцы на самом деле приезжали вовсе не по промышленной, а по некой научно-политической надобности, поэтому мы закончили смотр экономических достижений и отправились к помощникам местных вождей. В те времена страна еще не была избалована вниманием визитеров извне; в каждом кабинете нам подносили чай в маленьком грушевидном стаканчике и сласти. Разговоры тоже были по большей части приятные.

Под вечер я изъявил желание осмотреть наконец город. И дальше произошла маленькая, но все равно удивительная странность. Иртыш повез меня к руинам шахского дворца; подпрыгивая на маленьком холме недалеко от моря, руины не обещали ничего сногсшибательного. Но как только я вылез из машины, я моментально понял, что наверху среди стен увижу кусты граната в цвету – и действительно увидел.

Что может быть естественнее, чем встретить южный, тем более любимый тюрками, куст в тюркской же стране? Но поскольку это был первый случай, когда я предвидел что-то, необъяснимое дикое предощущение счастья всерьез охватило меня.

Это странное чувство объяснялось не одним лишь внезапно обнаружившимся даром мелкого бесполезного пророчества, а еще и тем, что Восток вдруг сомкнулся вокруг меня алым кольцом. Кусты граната подпирали и обрамляли рыхлые рыжеватые стены; сад бормотал стихи про солнечную древность и недолговечность страсти. Гранат был не дикий (низкорослый и темно-розовый, с оттенком влажности, недаром цветет он в мартовские туманы), а садовый – в мелкий лист над тугими стволами, с вычурными цветами; их обрамляет жесткая цвета темного апельсина звезда-чаша, а сами цветы бледно-розовы, со смутной белой каемкой по краю, лепестков много, они взбиты в пышную тончайшую юбку; казалось бы, естественно сравнить эти цветки с балетной пачкой или бальным платьем; но они исключительно восточны, и никоим образом невозможно соотнести их с обнаженными по-западному женскими плечами.

Я влюбился в Баку. После цветущего граната все казалось мне роскошным: и пузатые балконы домов, и тугие улочки, и самые обыкновенные клумбы; даже советские дворцы обретали здесь черты обиталищ восточных сатрапов – каковыми они, строго говоря, и являлись в политическом смысле. Впрочем, в тот момент мне было не до политики.

Иртыш оценил произошедшую во мне перемену. Мы говорили уже вполне дружелюбно. Я быстро понял, что его хмурость первых часов объяснялась общей нелюбовью сатрапии к Москве, а также моим поведением, вполне соответствующим представлениям о московском хамстве.

Иртыш был мягок без застенчивости, деликатен, но не манерен, несомненно, имел некую цель в жизни и наконец был благороден, как рыцарь, и, как рыцарь же, одинок (так мне, во всяком случае, показалось).

К своим тридцати годам он изрядно облысел, но, как это обычно происходит на исламском Востоке, его голова не приобрела вид облупившейся тыквы, а преобразилась в голову шахматной фигуры (в России так благородно лысеют евреи). Анфас голова его напоминала пешку, а в профиль – туру. Сложение его говорило о ежедневном общении с турником и гантелями, что он охотно и подтвердил.

На исламском же Востоке не только самые красивые мужские головы, но и самые красивые мужские пальцы: длинные, филигранные и какие-то нервно-бешеные, как кони-ахалтекинцы.

Одним словом, «Везет бакинским девушкам», – подумал я.

Вечером мы встречали японцев. Ошеломленные той сдержанной паникой, которая всегда царит в «Аэрофлоте», как во время предвиденной, но плохо организованной эвакуации, в темных костюмах, страдая от жары, они вежливо пожали нам руки и уснули прямо в машине.

Иртыш заметно волновался, и тут уж мы с ним работали на пару, и я в той же мере, сколько по обязанности, столько и из солидарности, сам проверил белье в номерах на предмет лобковых волос и пота.

Высочайший визит был коротким. С утра мы заскочили на керамический завод, где японцы с ужасом осмотрели «производство» и с неменьшим ужасом приняли сувениры. Впрочем, их порадовала облицовка из грубого ракушечника в здании дирекции; они сказали, что это близко к природе, а самый молодой японец даже сфотографировал ее к немалому смущению директора.

Затем мы поехали к очень высокому чиновнику, чуть ли не президенту или, во всяком случае, полупрезиденту сатрапии. Пока мы ждали в приемной, его помощник с гордостью сказал: «Он настоящий коммунист». «Что вы имеете в виду?» – спросил я. «Он сам готовит себе ужин».

Полупрезидент сообщил японцам, что президент Рейган набитый дурак. В ответ на их деликатный вопрос, что привело его к столь замечательному выводу, полупрезидент посмотрел в окно и сказал:«С однопартийной системой гораздо проще». И неопределенно пошевелил пальцами, как будто пытаясь нащупать эту простую систему, которая к восемьдесят седьмому году начинала выглядеть уж не такой и простой.

Потом мы поехали в шахский дворец, который не произвел на японцев никакого впечатления, а дальше – к местным академикам, которые впечатление, к сожалению, произвели. Вернее, впечатление произвел один, Зиятов: громадный мужчинище, прошедший войну, одолевший Московский университет и, кажется, какую-то партийную школу. «Никаких островов мы вам не отдадим, – заревел он с порога, врываясь в комнату, как Александр Матросов. – Курилы наши! Русские и азербайджанские – советские! Грудью станем!».

Иртыш побледнел; год назад Зиятов попытался ударить его, и Иртыш оказался первым из молодых, кто ответил ударом на высокий удар. «Что же делать? – говорил он. – Что же делать?!» «А ничего не делать, – отвечал я раздраженно.– Он же пышной левой грудью стал. Вечером японцы будут звонить в посольство».

Потом были нефтяные вышки, и японцы радовались чистоте воды, делая вид, что Зиятов забыт. Но вечером после прото-

кольного ужина в посольство они все-таки позвонили (я узнал об этом от горничной, которая интересовалась, кто будет оплачивать счет).

Иртыш был убит. Да и я находился не в лучшей форме, давно уже подозревая, что как бы ни хорохорился Горбачев, а только повсеместно – и в Москве и в Баку – наступало время именно Зиятовых.

Мы пошли в гостиничный бар; пили водку. Зиятов забылся, стали говорить о нашей вообще бессмысленной жизни. Вдруг Иртыш озлобился, поволок меня куда-то, как выяснилось, смотреть на огромное здание местного КГБ, прекрасно видное с верхнего этажа.

Бар закрывался; все, абсолютно все было еще недоговорено. Иртыш помчался в ресторан и купил у официанта вина. Мы поднялись в мой номер.

В восемьдесят седьмом году разговоры о политике, пожалуй, сближали теснее, чем койка. Мы говорили о политике до одурения и наконец, выстроив общую политическую платформу, перешли к более тонким вещам: семьи; опыты; неудачи, неудачи, неудачи. В какой-то момент (не помню, почему), я спросил:

– А откуда имя – Иртыш?

Иртыш покраснел и сказал, что имя дал дед, патриарх, в знак того, что тюрки пришли из Сибири и что имена их первородны.

– Господи, – закричал я, – да я всегда хотел поехать на Иртыш! Замечательная река!

И мы разом решили, что поедем на Иртыш.

Тут я, хоть и пьяный, насторожился и стал прислушиваться к себе. Когда я приглашал кого-то ехать авантюрой в дальние края, это всегда значило одно и то же.

Симптомы были безошибочными, и я помрачнел.

Но разговор все равно несся, как па-де-де вырвавшихся на свободу коней, пока мы не стали вязнуть в солончаках Бога.

– Ты что-то недоговариваешь, – восклицал Иртыш, пошатываясь даже в кресле и грозя мне пальцем, – ты что-то имеешь против Бога!

И он испуганно осекался, потому что Бог в то время был для нас еще одной ипостасью свободы.

Да, в то время я действительно уже кое-что имел против Бога. Мне казалось диким, что Бог, сотворив половой инстинкт и наделив им людей, им, разнообразным, как коллекция бабочек, диким, как лес и неотвратимым, как жажда, потом назвал все это искушением и наставил по тропам дикого леса хитрых венерических ловушек (как раз в то время до нас стали доходить вести о СПИДе).

– Странный получается Бог, – закончил я с вызовом. – Не то жестокий, не то любопытствующий, не то просто неумелый.

Иртыш опустил голову:

– Нет, – тихо сказал он спустя какое-то время, – плоть надо смирять.

И с подозрительной поспешностью заговорил о суфизме, а я поддакнул дзен-буддизмом.

– Слушай, – спохватился Иртыш, – как же я доберусь домой?

Шел четвертый час ночи.

– Переночуй здесь, – сказал я.

Мы разобрали кровати, и у обоих, я думаю, было чувство, что мы недоговорили самого важного, как недоделали чего-то.

Иртыш ушел в ванную; я стал к окну.

Внизу расстилался Баку со всей его восточностью, со всей отчаянной смелостью большого города, в котором, как кажется, всем позволено все, и любой стыд можно укрыть под своим огоньком и держать его втайне от других огней.

Я погасил свет и лег. До рассвета оставалось совсем немного, а рано утром я увозил японцев в Ленинград. Надо было вжаться в сон, как в родную подушку, но я был дальше от сна, чем, наверно, когда-либо в жизни, и все ворочался, ворочался, сердился и даже как-то *лютел*.

Через час или два я решительно сел.

Иртыш лежал на спине. Он сбросил простыню, и мне было видно, как мерно ходит его тяжелая грудная клетка, будто вдруг ровно задышала эллинская статуя в музее.

Я наведался в ванную, потом, сидя на своей кровати, закурил, довольно-таки сильно сотрясаемый ознобом в эту отчаянно жар-

кую, черешневого цвета и вкуса ночь. Иртыш дышал так же ровно, и даже сигаретный дым не будил его.

Уснуть я не мог уже по определению и злобно проворочался до утра. В шесть, как и было условлено, я поднялся.

Иртыш открыл глаза и сказал:

– А я тоже не спал.

Я отправился будить японцев.

По дороге в аэропорт меня мутило от вина, водки и недосыпа. У Иртыша под глазами темнели исламские полумесяцы. За все время, что мы ехали, он только один раз повернулся ко мне и спросил: «Каких поэтов ты любишь?»

В самолете я стал сочинять что-то рифмованное, начинавшееся словами, как сейчас помню, «А внизу расстилался Баку», но стихов писать я не умел и в конце концов уснул, проснувшись только в зареванном от дождя ленинградском «Пулково».

Потом мы перезванивались. В октябре Иртыш сказал, что приезжает.

Мы встретились в метро, на станции «Кировская». Как-то очень не по-московски он погладил мою руку, улыбнулся и сказал:

– А я женюсь.

Невесту его я возненавидел с первого взгляда. Звали ее Гуля. Оставим в стороне то, что она беспрестанно мысленно как бы примеряла Иртыша на себя, как шубу, а потом смотрела на меня с премерзким вызовом – «А ну-ка отними!». Оставим то, что она была некрасива, имела плохие зубы, казалась старше Иртыша лет на десять и слегка косила на левый глаз. Скажу только одно: в ее комнате в коммуналке стояла огромная золоченая *арфа*. По какой-то не вполне очевидной причине этот невиновный ни в бакинской ночи, ни в общей невозможности нашей жизни предмет показался мне сволочью. А когда я узнал, что Гуля иногда еще и *играет* на арфе «просто так, для себя», я только скрипнул зубами. Когда же я услышал, что сосед-алкоголик арфу не любит, скандалит и что вчера Иртыш чуть не подрался с ним, я мстительно протянул:

– Да-а, для арфы нужна отдельная квартира.

Глаза Гули наполнились слезами:

– Как вы недобро говорите. У меня всего и есть, что эта комната. Вы хотите сказать, что Иртышу надо было найти невесту с отдельной квартирой? Вы думаете, он женится на мне из-за московской прописки?

«Да, да, да! – хотелось закричать мне. – Именно, именно из-за московской прописки, и не делай вид, дура, что это плохо! А ради чего *еще* он на тебе женится? Чья это застеленная раскладушка стоит за твоей гребаной арфой? Он даже не хочет залезть к тебе в постель, и ты, наверняка, устраиваешь ему истерики каждую ночь, говоря, что он тебя недостаточно любит!»

Но вместо этого я скучно сказал:

– Неужели вы считаете, что друзья Иртыша думают о нем так скверно?

В общем, мой визит прошел отвратительно, и я совратил Иртыша приехать на другой день ко мне.

Он приехал, сказав смущенно, что только на два часа, потому что Гуля боится оставаться одна. Мы пили мерзкий портвейн (из-за фортелей Горбачева с вином тогда еще было плоховато) и опять говорили за жизнь. Снова крутились политика, Бог и река Иртыш, но это уже было почему-то не то чтобы и очень нужно нам обоим. В то же время Иртыш не хотел уходить, и я не хотел, чтобы он ушел, и вместо отведенных ему Гулей двух часов он просидел у меня все восемь. О своей женитьбе он только сказал застенчиво:«Отец говорит, что мне пора жениться». Потом проскользнула фраза, что он задыхается в Баку: время Зиятовых поистине пришло, и хотя люди говорят все смелее, но как-то все не о том.

Я не удержался и помянул арфу.

– Выбрось ее и поставь турник, – посоветовал я.

Иртыш тихо засмеялся, погладил мое плечо и сказал:

– Вот перееду в Москву, будем вместе в спортзал ходить.

– Переезжай, а? – попросил я, только что не облизываясь, воображая скоромную раздевалку спортзала и Гулю, ждущую Иртыша дома. Интересно, как долго простоит там его особая раскладушка, подумал я.

На другой день Иртыш улетел в Баку. В тот же вечер Гуля позвонила и сказала:

– Вы слишком много пьете. Это ваше дело. Но я запрещаю спаивать Иртыша.

– Извините, Гуленька, – сказал я, зверея. – Вы меня в канаве видали?

Эта опытная истеричка мгновенно поняла, что ссориться с пока что единственным московским другом будущего мужа преждевременно, и заюлила:

– Нет-нет, я имею в виду культурные различия. Русская культура пития принципиально отлична от исламской.

Распираемый злобой, я изложил этот разговор матери и друзьям.

Мать печально сказала, что я в самом деле много пью и что вот уже чужие люди стали замечать. Друзья смеялись. Я хорошо имитировал гулино сюсюканье.

Приближался день свадьбы.

Иртыш позвонил и попросил встретить на вокзале. «Я везу фрукты», – сообщил он растерянно. Я сказал, что встречу. Он попросил меня быть шафером. Почти следом за ним позвонила Гуля и вела себя томно-мило. Мы договорились встретиться у Курского.

Была зима; не слишком холодный день, впрочем, но сумрачный и промозглый. Гуля была одета в песцовую шубку, раскраснелась от волнения и держала меня под руку. Я был с ней ласков, и она даже спросила:

– Как мне лучше убрать комнату к свадьбе?

«Арфу в жопу засунь, милая», – хотел сказать я ей, но, конечно, промолчал.

Поезд опоздывал всего минут на двадцать. Мы смотрели в мутную зимнюю даль. Гуля все держала меня под руку.

Наконец, раздался гудок, и локомотив, освещая себе дорогу фарами во мгле, потащил к перрону Гулино счастье.

Люди выходили – многие с фруктами, как обещал приехать и Иртыш. Фрукты смотрелись в московской зимней хляби, как атлеты в больнице.

Иртыша не было. Перрон пустел. Гуля уже не шутя опиралась на мою руку; глаза ее налились слезами, она закусила губу.

– Посмотрю в вагоне, – сказал я.

Вагон был пуст, но у меня было дурацкое ощущение, что я все же найду Иртыша, может быть – дикая мысль! – забившегося в угол под полкой. Каким-то телепатическим образом я ощущал его *страх*. В верности этого чувства я нимало не колебался.

Я вернулся на перрон. Гуля закрывала лицо руками. Так прошло не знаю сколько – еще минут пять. Потом поезд пошел в тупик.

– Он не приехал! – закричала Гуля и бегом бросилась к подземному переходу. – Спасибо за все! – бросила она мне через плечо с невероятной злобой.

Я покурил на пустом перроне и поехал на работу.

Я был зол. С одной стороны, нельзя было не радоваться, что свадьба расстроилась. С другой стороны, Иртыша не будет в Москве. С третьей, почему я должен выслушивать истерики его так называемой невесты, которой он вез какие-то баснословные фрукты? Но, в конце концов, может быть, что-то случилось?

Поколебавшись, я набрал Баку. В конторе, где работал Иртыш, ответили, что он сидит в библиотеке. Что-нибудь передать?

– Нет, – сказал я и повесил трубку.

Всего через три года я снова оказался в Азербайджане. Прошедшие годы казались вечностью. Я женился, а Союз стал распадаться.

Меня пригласили в Азербайджан для очень платных консультаций по одному деликатному делу. Помощники новых вождей передавали меня с рук на руки, пока я не оказался в совершенной глуши, в горах, на границе с Карабахом. В Баку я на этот раз, по сути, не был; меня встретили у трапа самолета и препроводили в депутатский зал, где я и просидел до рейса в глубинку.

Шел февраль. Большей частью было сумрачно. Не то горы плавали в тумане, не то туман плавал в горах. Когда выходило солнце, оно золотило неопавшие стручки акаций и бесстыдно обнаженные стволы платанов. По сухим озябшим улицам несло пыль веков. За глухими стенами домов лилась невидимая

вода и звенели невидимые же тазы. Русских почти не осталось. Вернее, они были, но это были солдаты нескольких полков, размещенных там, где шла война. Солдаты жили в горах в пионерлагерях. Проезжая мимо этих «Орленков», «Зарниц» и «Юностей» – по делу или просто в какой-то заветный ресторан, в котором, впрочем, подавали то же, что и везде: пережаренный шашлык, помидоры, огурцы, зелень и водку – я видел, как бэтэры со своими непристойными стволами неуверенно выруливали из ворот пионерлагерей и озирались по сторонам.

Однажды после очередного пира, обещавшего изжогу, мы остановились на перевале. Помощник вождя вывел меня к обрыву и показал на село, хлебной лепешкой расплывшееся в мглистой долине.

– Осиное гнездо, – сказал он мрачно. – Армяне. Скоро прихлопнем.

Через три месяца так оно и вышло, но тогда я этого, конечно, не ожидал. Все, что я знал на тот момент, – это то, что обе стороны были готовы драться всерьез, с нетерпением ожидали, когда русские решительно выступят за тех или за этих или, что тоже неплохо, вовсе уберутся из Закавказья. Еще я знал, что академик Зиятов со всей убедительностью доказал, что Карабах был, есть и остается самой азербайджанской из всех азербайджанских земель. Кажется, теперь он был советником премьер-министра. В последнем, впрочем, может быть, я и ошибался.

В двух шагах от нас стоял бэтээр. Русские солдаты с автоматами наперевес сутулились на сквозняке перевала.

– Закурить не будет? – спросил самый смелый, шмыгая носом.

Я полез в карман.

– Конечно, конечно, дорогой, – засуетился помощник вождя и быстро сунул парнишке «Яву».

Пряча глаза, не желая показать, что он думает о нас, солдат отошел к товарищам. Они неспешно закурили.

Некоторое время я еще смотрел на село, солдат и туман, а потом помощник вождя тронул меня за плечо, мы сели в машину, и черная «Волга» покатила нас под гору.

Дело шло к вечеру, и пока мы добрались до города, стемнело.

Я наскоро обтерся холодной водой (душ не работал), надел свежую рубашку, повязал галстук и спустился вниз. Сегодня вечером я должен был встречаться с человеком без каких бы то ни было титулов, при упоминании о котором помощники вождей закатывали глаза в немом поклонении, а сами вожди начинали нервно барабанить карандашом по пепельнице и пить чай частыми глотками.

Я спустился в вестибюль немного раньше срока. Как всегда по вечерам, там в неподвижности стояли или сидели на корточках мужчины всех возрастов. Только один этаж гостиницы был отведен проезжающим. На трех других размещался публичный дом.

Мужчины молчали и посматривали на лестницу. Когда кто-нибудь спускался, они нервно взглядывали наверх, ожидая, когда появится старик в белой рубахе и махнет им рукой.

Восемь часов назад на главной площади города, напротив гостиницы хоронили председателя совхоза и его шофера, убитых армянами накануне. Может быть, поэтому ожидающие мужчины были несколько более нервны, чем обычно, и даже переговаривались шепотом.

– Присядьте! – ласково пригласила дежурная. Она знала, что меня пасут помощники вождей и, может быть, даже знала о предстоящем мне сегодня вечером разговоре.

– Спасибо, нет, – сказал я, отвечая улыбкой на улыбку.

– Вы знаете, что случилось вчера? – спросила она, страдальчески глядя на меня.

– Да. Я видел похороны.

– О-о, все это кончится, все это очень скоро кончится, – нараспев сказала она с полной убежденностью в голосе. – Раньше наши мужчины только шутили. Теперь это серьезно.

– Да? – сказал я.

– Конечно, конечно, – зашептала она в ажитации. – Нам просто были нужны хорошие командиры.

И, придвигаясь поближе (как видно, я внушал ей доверие, а, может быть, ей сказали, что я внушаю доверие), расширив глаза, она продолжила: – Теперь они есть, есть. Например...

И она назвала фамилию человека, с которым я должен был встречаться сегодня вечером.

– И еще, есть еще один...

Ну да, конечно, вторым она назвала Иртыша.

– *Тот*, – шептала она, – он очень могущественный, очень, очень, его так уважают... А второй – его зовут просто по имени, Иртыш, его любят, его очень любят...

– Не сомневаюсь, – сказал я, борясь с неожиданной сухостью в горле.

– Да, его невозможно не любить! И вы знаете, что он сказал?

– Что?

– Он сказал, что не будет спать с женщиной, пока не кончится эта война!

И она с презрением окинула взглядом мнущихся в вестибюле мужчин.

Я тоже оглянулся. Толстяк в промокшей рубахе, позевывая, выходил из гостиницы; паренек в полосатых кроссовках нервно поднимался по ступеням.

– В таком случае эта война должна длиться вечно, – сказал я, повернулся спиной, услыхал ее негодующее «ах» и быстро зашагал к выходу, откуда махали руками помощники вождя, которые должны были везти меня на важную встречу.

1995

БЕЗ ТЕБЯ

По мотивам Ю.

Хлопнула дверь. Я шагнул в темноту.

Я захлопнул дверь за собой сам и теперь сам же медленно спускался по скрипучим ступеням в душную, непроглядную, как черный камень Каабы, ночь.

Все было кончено. Брайан был моей последней надеждой.

Я тупо вертел в кармане пачку сигарет, не зная даже, хочу ли я, собственно, закурить или нет. Перед глазами стоял или, точнее, сидел, Брайан – как будто у меня отняли зрение и намертво приклеили к глазному нерву лишь одну картинку: Брайан скорчился на кровати, сжав голову удивительно нелепым образом, а гнусный торшер заливает всю сцену сочным желтым светом, словно мы находимся внутри сливы.

Дальше стало происходить совсем непонятное. Я-то хотел уйти в сторону, затеряться в темных переулках, может быть, совсем беззвучно пропасть где-то между гольфовым полем и Институтом Углубленного Знания, но умные ноги своею волей понесли меня кратчайшим путем на вокзал – по Мерсер-стрит к Нассау и дальше, на Юниверсити-плэйс.

Ноги несли меня, радуясь, что вот, скоро отдохнут, вытянувшись под сиденьем вагона, а я только безмысленно смотрел на трехэтажные дома с верандами, где живут богатые детки, которые в Америке боятся даже собственной тени и хохочут только для того, чтобы скрыть полное неумение жить на той темной и громадной территории, где ни мораль, ни деньги не имеют власти.

На их окнах не было занавесок, они без смущения селились в домах двуполо, и все для того, чтобы доказать пристальному общественному глазу, что будущие президенты и банкиры станут совокупляться только тогда, когда еврейский, католический или протестантский Боженька станет зычно скликать гостей на их свадьбу.

Я не то чтобы любил Брайана. Единственный человек, которого я до сих пор любил, была моя странная сварливая жена, годы назад оставленная мною в России. Этот же мальчик, как (должно быть, ошибочно) казалось мне, прораставший из американской мертвечины, словно зеленая стрела из старушечьей луковицы, этот мальчик был для меня больше чем любовью: последней надеждой, быть может.

Всему надлежало разрешиться в тот вечер, все слова должны были быть произнесены – пан или пропал, и вот я пропал, а он сжал голову в невероятной брезгливости к себе оттого, что ждал именно этих самых слов, и оттого, что в волнении жалко скомкал отрепетированное заранее надменное «нет». Так что отчасти Брайан тоже пропал, и теперь будет мелочно пережевывать свою собственную грязность мечтателя-бормотуна, и через годы совсем посторонний и случайный человек получит от Брайана то, чего не добился я. В неминуемом падении Брайана я был совершенно уверен и думал именно об этом, пока поезд тащил меня порожняком сквозь ночь.

Я вернулся домой в десять вечера, постучал к Саллигэнам и сказал, что урок, отмененный мною накануне, все же состоится. Саллигэн-младший посмотрел на меня с ненавистью и, сопя, полез по крутым ступеням на третий этаж, в мансарду, которую я снимал у его матери.

Сара Саллигэн с первой минуты знакомства поняла, что мне до зарезу нужны деньги, и, снедаемая американской деловитостью, сразу стала соображать, куда бы меня пристроить. В итоге я стал заниматься с сэром Саллигэном-младшим английским правописанием. В языке я был не вполне тверд, но вся казуистика письменного английского прочно вошла мне в темя двадцать лет назад в Московском университете.

Сказав Саллигэну-младшему девятнадцать раз подряд написать слово «лейтенант», в котором, как он считал, были две лишние буквы, а одной недоставало, я подпер щеку рукой и задумался.

Я рассеянно смотрел на сгорбившегося Саллигэна-младшего, похожего на сердитую аквариумную рыбку, и по непредвиденной цепи ассоциаций меня, как всегда, понесло куда-то в чертовы дебри. Я вспомнил аэропорт Чанги в Сингапуре, через который летел в Австралию давным-давно, когда коммунисты еще платили мне деньги, вспомнил, потому что там были кстати и некстати расставлены аквариумы с тропическими рыбами. Затем я перешел к картинке, которая засела у меня в голове прочнее, чем все эти рыбы-клоуны. При посадке в мельбурнский самолет я наблюдал мальчика лет восемнадцати – в рваных шортах, легионерских сандалиях, свободной майке на узких бретельках, не скрывавшей его спину загорелого мотылька и шею со спутанными серпиками волос – мальчика, летящего с рюкзаком в южное полушарие, этакого ваганта, настоящего студента, бродягу; немца, должно быть. Я вспомнил, с какой завистью смотрел тогда на него; я почти годился ему в отцы, и вот, он летел на край света сам по себе, не боясь, что пропадет, а я ежесекундно проверял советский паспорт, билет и куцую пачку долларов, выданных мне казной.

Какое-то время я вяло пожевал эту картинку, это назойливое воспоминание, а потом вдруг понял, чего хочу. Я понял, что мне надо уехать, метнуться через моря и после неизбежного пылесосного ада самолетной кабины оказаться на земле, которая не дала бы мне повеситься.

Саллигэн-младший написал «лейтенанта» неправильно ровно девятнадцать раз, и мы перешли к «соседу», слову, вообще чудовищному по нелепости написания. Саллигэн-младший ненавидел меня, а я бродил по комнате, соображая, хватит ли мне денег, чтобы добраться до Венеции, потому что я уже точно знал, что полечу именно в Венецию.

Мы начали диктант.

– Венеция – это южный Санкт-Петербург, – диктовал я. – Венеция стоит на каналах. Каналы пахнут сыростью. Их стены покрыты патиной. Венеция – грязный город. Сады там маленькие. Они растут на приступке над белесой водой, сдавленные стенами. В городе много плесени. Она везде. Человек, проведя ночь в гостинице, плесневеет. В Венеции кругом смерть. Венеция – гроб с рюшами и стальными цветами. Весной там туманы. Цветы граната светятся, как морское побережье ночью. Клубится вода. Ящерицы висят на стенах каналов, как дохлые. Непонятно, где верх, где низ – везде свинцово и мокро. То ли небо стекает в лагуну, то ли лагуна капает на небо. Никто не знает. Но сейчас июнь. Следовательно, туманов нет. Есть запахи. Все преет. Венеция разлагается. Пахнет всем. Раз в день рассыпается какой-нибудь дом. На его месте остается мокрая комнатная пальма, которую только что неизвестно зачем полили, и бабушкино кресло. Голубей в Венеции нет. Как нет и Святого Марка. Все уже давно пропало. Картины Канолетто лежат на дне. Ими любуются золотисто-зеленые бородатые рыбы. Самую жирную зовут Святой Марк.

Саллигэн-младший быстро писал, ничему не удивляясь. Я всегда диктовал какую-то чушь.

В одиннадцать вечера я был уже в постели. Бред накатывал на меня, и я хотел послать Брайану веревку с запиской:«Без тебя...» Но я уже умел справляться с бредом. Бред надо было заговаривать чем-нибудь практичным и требующим сосредоточенности. Я стал считать еще раз, во что мне обойдется быстрое перетекание в Венецию. Денег должно было хватить. Потом я стал думать о Святом Марке и вообще об апостолах и отчего-то представил, как в корабельном трюме-буханке в мерцающем свете свечей Святой Петр оживляет копченых селедок. Его раззявленный рот при виде неожиданно получившегося все-таки чуда, потом его идиотский смех, хохот, почти гогот, запрокинутая голова, нечесаная борода: «Господи, наконец-то получилось!» И благоговейное изумление команды, у которой с каждой воскрешенной селедкой убывает ужин. Не знаю, почему я все это себе представлял. Потом Святой Петр схватил огром-

ной заскорузлой ладонью селедку, у которой в глотке торчал фитиль и которая служила главной застольной свечой, совсем уж дико заржал и оживил и ее. Засеребрившаяся рыба забилась у него в руке, стала давиться фитилем, и тот потух, а Святой Петр стал гасить, то есть оживлять, все рыбы-свечи, одну за другой.

Примерно на этом я и уснул.

Наутро бред тихонько трогал мою голову кошачьей лапой, и проснулся я с мыслью именно о неизбежности бреда, потому-то и надо было торопиться с отъездом. Я позвонил в русское агентство на Брайтоне. Я всегда звонил в русские агентства, когда путешествовал. Русские умудрялись находить обходные пути, какую-то немыслимую дешевизну, даже в Америке.

Дама в агентстве (я знал, что ее зовут Дора) пощелкала клавишами компьютера (я слышал) и бодро сообщила, что нашла «потряса-ающий» билет. Потрясающий билет должен был метнуть меня из Нью-Йорка в Хельсинки, оттуда во Франкфурт и потом в Венецию. Обратно я должен был лететь отчего-то через Амстердам. Я не был уверен, что вернусь из Венеции куда бы то ни было, но заказывать билет в один конец было экстравагантно и наконец просто глупо.

Я был не в восторге от того, что предлагала устроить Дора. Мне предстояло провести пять часов в Хельсинки и шесть во Франкфурте. По опыту я знал, что дешевый транзит на самом деле выходит не так уж и дешев: я не мог вынести и мысли о том, чтобы *терпеть* в залах ожидания, и проводил все время между рейсами, выпивая. Выпивка же в любом аэропорту стоила баснословно дорого; прошлой зимой во Франкфурте, через который я дешево летел в Россию, с меня брали за пиво по пять долларов с лишним и за три часа я просидел около тридцати пяти баксов и еще дал четыре на чай.

К тому же я боялся просто не долететь до Венеции, затеряться, как сор, в душных переходах аэровокзалов.

– Нет, Дора, – сказал я. – Делайте прямой билет.

– Это будет дорого, – сказала Дора таким голосом, как будто метнула на прилавок груду жемчужных бус.

– Ладно, – сказал я. – Пусть.

Очевидно, моя расточительность понравилась кому-то на небесах, и место на Венецию нашлось немедленно, причем лететь нужно было через четыре дня, во вторник. Был четверг. Сегодня и завтра я был занят на уроках. Мы договорились с Дорой, что я приеду за билетом в понедельник.

Два дня я ходил по эмигрантским семьям и учил детей где английскому, где русскому. За уроками русского наблюдали прячущие глаза бабушки, которые не хотели, чтобы внуки забыли родную речь. За уроками английского следили отцы, которые говорили с сыновьями на своем шершавом инъязе и еще поправляли меня. Я сказал всем, что мне предложили работу в колледже в Нью-Мексико и что я должен срочно лететь на интервью. Враки о Нью-Мексико производили должное впечатление, и я был уверен, что если вернусь из Венеции, то снова получу место в этих семьях, которые будут говорить: «Конечно, он провалился на интервью, потому что, безусловно, неквалифицирован для работы в колледже, но приглашали ж все-таки».

Я жил в Ньюарке, гнусном городе-руине у подножия Нью-Йорка. Иногда по старой привычке я ходил «за город». Ньюарк кончался внезапно, как жизнь. Начинались невнятные озера, сплошь заросшие камышом, в котором водились маленькие белые цапли. Я становился на самый край болот и смотрел на голубой силуэт Нью-Йорка. В понедельник, трясясь на поезде над болотами, добираясь до Доры, я шептал про себя: «Прощай, прощай, Нью-Йорк, город гордый!» Я был почти уверен, что из Венеции я не вернусь.

Размышляя как раз о Венеции, на Пенн-стэйшн я перебрался в метро, на линию «R», которая понесла меня на юг. Как ни был я погружен в венецианские лужи-дожи, однако внезапно вздрогнул, почуяв опасность.

Опасность шла слева, со скамьи, где орхидеей развалился здоровый негр, смотревший на меня и только на меня и, несомненно, уже видевший во мне жертву. Дальше случился вязкий кошмар, который я предвидел почти в деталях. Негр неспешно поднялся, сделал два шага и завис надо мной.

– Сука в ботах, – сказал он и всей пастью отхаркнул мне в лицо жвачку. – Белая тварь.

Я стряхивал со щеки мерзкий комок и смотрел в пол.

– Деньги, – сказал негр, не снисходя до того, чтобы наклониться.

Ножа я пока не видел, но сопротивляться все равно боялся. Негр расправил свои розоватые ладони; через мгновение эти липкие присоски октопуса должны были войти в меня, и не от смелости, но от невероятной тошноты, подкатившей к горлу, я ударил его кулаком в мошонку.

Черный попытался сделать невозможное: воя, побаюкать промежность и все же прикончить меня. Поезд уже подлетал к станции, я рванулся мимо зверя к дверям, ощутил сильную затрещину и вылетел на перрон.

Но не успел я замыть следы в толпе, как привычным страхом екнуло сердце: конечно, черная образина, взлелеенная проклятыми американскими либералами, успела сорвать с моего плеча сумку, как спелый банан с ветки. В сумке был вид на жительство, green card. Венеция отменялась.

Я прислонился к грязному столбу и зажмурился. Я просто не представлял, что нужно сделать для восстановления заветной книжечки, но был твердо уверен в одном: хлопотать предстоит много и долго, а ехать необходимо было сейчас. Если б я не добрался хоть куда-то, мне было просто не выжить.

И вот я уже сидел на корточках в метро, технически – советский, или, вернее, российский гражданин без московской прописки, не имеющий ни права находиться на территории Соединенных Штатов, ни права с этой благословенной территории уехать. Впрочем, оставаться в Америке я, боясь смерти от собственной руки, все равно не собирался. Речь шла, таким образом, только о том, куда уехать.

Можно было попытаться пробраться в Канаду: паспорта на границе иногда не проверяли. Но Канада, как я знал, была лишь проекцией гигантской американской пирамиды в сторону северного полюса. В ней не было магии, а только какая-то старая испытанная магия могла поддержать меня на плаву. В Север-

ной же Америке магией и не пахло, я был в этом уверен и даже однажды потерял из-за этой убежденности хорошую работу. Меня пристраивали в маленький американский фонд, вообразивший, что, собирая незнакомых и даже враждебных друг другу людей и выплачивая им гонорар, можно содействовать делу мира и чему-то такому еще. Директором фонда был мой приятель, профессор – золотое сердце, но на кассе сидела умнющая сорокапятилетняя баба, внучка богатея, который и завещал некие денежки на дело мира. В свое время она прошла через марихуану и индуизм, а теперь клепала бусы, которые дарила знакомым, и писала пьесы, которые нигде не шли. Пригласив меня на ланч, эта Красная Шапочка долго расспрашивала про Россию и про политику, а потом, уже подкрашивая губы, свертывая разговор, удостоверившись в моей полной благонадежности, спросила, как мне нравится Америка. «В этой стране нет магии», – сказал я. «А в России она есть?» – ухмыльнулась Красная Шапочка. «Есть, но злая, – отвечал я. – А добрая магия есть в Англии». «А здесь – совсем нет?» – «Нет». – «Ни на чуть-чуть?» – «Ни на чуть-чуть». – «А ты не пробовал съездить на индейские курганы?» – спросила Красная Шапочка, не глядя на меня и пряча зеркало в сумочку. И никакой работы я не получил.

Я сидел на корточках в нью-йоркском метро, тускло гадая, станут мне кидать подаяние или не станут, и размышлял, что делать.

Моя бестолковая жизнь, в которой я тем не менее как-то телепался, приучила меня давить бред и безысходность логикой; я воззвал к логике и понял, что могу добраться до Пуэрто-Рико.

Пуэрто-Рико: пальмы? рифы? форты? мулато-метисы?

Я решил не ехать к Доре. Во-первых, Дора будет долго и нудно ругаться. Во-вторых, никакого залога я не оставил, дорино агентство работает на риск, и пускай сейчас выкручиваются, как знают. Я поехал прямо в аэропорт.

Пересаживаясь, переживая сабвэйную тряску, уже ничего не боясь и понимая, что сейчас уделаю любого бандита, я несся прямо в JFK, где у стойки какой-нибудь American Airlines и собирался купить билет.

В самолете, покорно выслушав сообщение главного стюарда о том, что курить нельзя и что полет продлится три с половиной часа, я попытался понять, зачем меня вообще было понесло в Венецию. Ответ оказался простым.

Весной, три месяца назад, Брайан возил меня на Юг, петляя по окольным дорогам, в попытке доказать, что в Америке магия есть и что я, следовательно, напрасно упустил хорошую работу. И вот мы оказались в Теннесси или в Кентукки, словом, в южных лесах, то над, то под холмами. Был март; хоть и не испытав морозного русского оцепенения, окружающее все-таки если и не оттаивало, то как-то отходило от зимы. Дали застилала сигаретная дымка – курил я, курились сосны; Брайан со всей серьезностью своих двадцати восьми американских лет убеждал меня, что курить вредно; над обрывами, как всегда, когда бывает хорошо, хотелось взлететь. Мы остановились в сосновом бору в гостинице, сложенной из глыб знакомого мне по Крыму серого аристократического известняка. Гостиница была построена в этом глухом месте только потому, что метрах в стах внизу меж тех же сосен ревел, захлебываясь в неизбывном спермотоксикозе, невысокий, но широкий и толстый водопад, название которого я непоправимо забыл. В отеле можно было записаться на ночную прогулку к нему, причем утверждалось, что это единственное место в Северном полушарии, где видна лунная радуга.

Лунная радуга мало волновала меня; мне было важнее сидеть в необъятной дубовой гостиной с камином, развалясь в кожаных креслах (здесь даже можно было курить), и говорить с Брайаном, наслаждаясь – как мне казалось тогда – абсолютной властью над ним, то беря его на короткий поводок ультимативным реализмом, то давая порезвиться всласть, распуская славянские сопли.

Но Брайан все же вытащил меня на эту окаянную прогулку, и хотя по астрономическим соображениям все должно было совпасть, но не совпало: луна флиртовала с тучами, и несмотря на заклинания гида, никакой лунной радуги мы не увидели. Завершив прогулку словами «Луна ждет вас завтра, и все билеты

действительны», гидша потащила нас обратно, в гору, и американские пенсионеры переживали приключение с таким энтузиазмом, как будто прождали полчаса не на мокром провинциальном мостике, а у пещеры дракона.

Уже рассвело, а Брайан спал как убитый, влившись в подушку лицом, словно поверженная статуя Микеланджелова Давида (на которого он слегка походил лицом; тело его было ужасно, да и в лице, впрочем, были скорее запечатлены чуждые Микеланджело еврейские черты). Я же почему-то не спал; хотелось курить; сигаретный дым разбудил бы Брайана; я тихонько поднялся и вышел.

Лес уже проснулся, и, как всегда, когда я бывал счастлив, мне казалось, что кора сосен состоит из мириада маленьких рыцарских щитов.

Тут я почувствовал какое-то свежее напряжение кругом; приглядевшись, я понял, что за ночь подросли, а к утру расцвели фиалки.

Я нарвал охапку, украдкой пронес мимо портье, боясь, что он арестует меня за надругательство над природой, и вошел в наш номер, где после свежего леса казалось очень тепло и тесно и где по-прежнему спал Брайан.

Я подошел к нему и поднял фиалки высоко в воздух; не знаю, каким богам я в этот момент молился, только точно не Иисусу, и стал медленно, одну за другой, ронять фиалки на Брайана.

Цветы, конечно, были холодными, поэтому от первого же их прикосновения Брайан дико вздрогнул, выгнул спину, как кот, и привстал. Я продолжал это странное жертвоприношение, а он смотрел на меня и улыбался, а потом захохотал, зарылся лицом в фиалки и стал разбрасывать их вокруг себя тугим фиолетовым фонтаном.

Но то ли жертвоприношение мое показалось богам недостаточным, то ли я просто сглупил, только никаких слов в тот день сказано не было, ничего не произошло, Брайан целомудренно оделся, и мы спустились к завтраку.

И сейчас, летя на это дурацкое Пуэрто-Рико, я вспоминал, как раз или два накануне решающего объяснения мне виделось: Ве-

неция; сырое утро; спящий Брайан; я одеваюсь, выхожу из старенького отеля на грязноватую рыбную набережную, покупаю у сонной торговки корзину фиалок, возвращаюсь в номер, фиалки падают древнеримским дождем – и никакие слова и объяснения больше не нужны.

Так вот зачем мне была нужна Венеция, сообразил я, – фиалки и Брайан. Но Брайан потерян навеки, и в таком случае в Венеции я бы уж точно повесился. Так что хорошо получилось, рассуждал я дальше, что полетел я не в Италию, а на этот полуамериканский остров, где не проверяют никаких документов.

И я стал читать книжку про русских великих князей.

Потом был шоковый тропический компресс. Я всегда утверждал, что за первые тридцать минут в тропической стране ты должен увидеть в ней самое главное. В умеренных странах постепенно входишь в пейзаж и климат; они обволакивают тебя облаком. В тропики же ныряешь, и тебе отведено совсем немного времени под этой цветной водой, а потом водотропики начинают выталкивать тебя, и ты уже на поверхности, ты уже вне страны, воды – чего угодно, с тебя льет пот, солнце ест лоб, и тебе уже ни до чего нет дела.

Я домчался до ближайшего отеля минут за десять. Отель походил на стоящую колом простыню. В холле, впрочем, стены были выложены черным льдистым мрамором.

В номере я скинул рубашку и вышел на балкон. Мне оставалось еще минут десять настоящих тропиков.

Внизу лежала ровная раковина залива. По отмели слонялись редкие люди. Над пляжем, как соломинки в коктейле, мотались пальмы. За пальмами и дальше над выцветшими черепичными крышами восставал курчавый мыс. В лазурной воде чернильными пятнами расплывались рифы.

Воздух гудел: каждые тридцать секунд в небо отвесно взлетал тяжелый самолет. Сан-Хуан был главным терминалом Карибского моря. Тут я внезапно понял, что цикад по ночам слышать не буду, не буду слышать и восхитительных тропических лягушек, что все это пожрет оглушительное курортно-индустриальное зверство.

Я пошел под душ.

Потом пролистал цветные проспекты, которые лежали на тумбочке. О Сан-Хуане я ничего не знал и уже догадывался, что проспекты меня непременно обманут.

Пройдясь пару раз по глянцевым страницам, я привалился к подушкам, которые уже липли к плечам. На груди собирались капельки пота. Я с тоской посмотрел на открытую балконную дверь.

Ветер играл кисейной занавеской, сквозь ее ветхий покров был виден толстый бело-зеленый самолет, уносящий в небо – быть может, прямо к Святому Петру – сотни три пассажиров. Я отвернулся и закрыл глаза.

В голове вертелась какая-то чушь. Ноги почти было оторвались от кровати – нести меня к телефону, говорить с Брайаном, но я вжался в матрас, и ничего не произошло.

Потом я уснул.

Когда проснулся, солнце стояло уже низко. Я был весь в поту. Выбравшись на балкон, увидел длинные фотогеничные тени пальм на белом песке и решил идти на пляж.

Пляж, как и надо было ожидать, оказался колким и грязноватым, вода – мутной, и я удивился, как это я мог видеть с балкона рифы.

Едва выбравшись из моря, я услышал русскую речь.

– Ой, Симочка не поверит, что здесь тепло, как в кастрюле. Он у меня южнее Крыма нигде не был.

– Брайтон южнее Крыма.

– Вы так считаете?

Не вытираясь, через загаженный маслом гараж я пошел в свой номер.

Темнота пала быстро, и я спокойно уснул. Ночью несколько раз просыпался от голода, но какое-то странное – верно, снова обманчивое – чувство говорило мне тихое слово, и я кувыркался обратно в сон.

На другой день проснулся от духоты. Тело поламывало, как с похмелья, голова была дурной.

Я проспал двенадцать часов.

И буфет, и завтрак напомнили мне заштатную новгородскую гостиницу, в которой я некогда, примерно так же, как сейчас, *бежав*, прожил две недели кряду. Я сказал толстой мулатке за стойкой, жарившей яичницу:

– У тебя омлет соленый, как море.

Она сверкнула улыбкой:

– Спасибо, сэр.

То ли она не поняла, то ли издевалась, то ли вообще просто не слушала.

Из буфета я пошел прямо на пляж.

В гараже было сумрачно, он напомнил мне советское же бомбоубежище. Это настроение ностальгии-через-плохое чрезвычайно не понравилось мне; не за этим я ехал на Пуэрто-Рико. Я прислонился к беленому столбу и стал глазеть по сторонам, пытаясь обнаружить какую-нибудь экзотическую деталь: волосатого паука, оброненную орхидею, потерянный пляжный шлепанец – не знаю.

– Эй, сэр, а что вы тут делаете? – услыхал я тихий голос.

Я обернулся. В некотором отдалении, у красного «Форда», стоял достаточно молодой человек в темных шортах, босой. Длинные волосы его были туго сведены на затылке в опрятный хвостик. В руках шланг и канистра. Каким-то образом он одновременно выглядел местным и не местным; в чертах его переливались, как в хитром зеркале, приметы нескольких рас. Глаза, во всяком случае, были голубыми.

– Я ворую машины, – сообщил я.

– Здесь нельзя просто так гулять, – сказал молодой человек серьезно. – Через гараж идут на пляж. А просто так стоять здесь нельзя.

– Ты ведешь себя, как нью-йоркский мент, – заявил я. Он и правда смотрел на меня, как смотрят молодые полицейские во всем мире: глазами нервного удава; Бог знает, кто их этому учит.

– А я и есть из Нью-Йорка, – ответил он все так же серьезно, не отрывая маленьких и хмурых глаз от меня.

– А я из Ньюарка.

Он кивнул.

– Так какая машина здесь самая дорогая?

– Самая дорогая, – сказал он без тени улыбки, – это вишневый «Би-Эм-Дабл-Ю» в третьем ряду. Но его отсюда не видно.

Мне снова стало скучно.

– А как добраться до коралловых рифов? – спросил я, едва не зевая. – Я видел какие-то с балкона, но эти, наверно, засранные.

– Обратитесь к портье, – посоветовал молодой человек с некоторым облегчением. – Они возят на рифы. На настоящие рифы. Это далеко.

– А здесь рядом ничего нет? – нудно гнул я свое, абсолютно не понимая, чего добиваюсь.

– Можно нырять у мыса, – сказал молодой человек, поколебавшись. И махнул рукой туда, где по его представлениям должен был находиться мыс.

– А как туда добраться? – хныкал я.

Он посмотрел на меня в упор и после некоторой паузы произнес:

– Я могу отвезти. На лодке. За десять долларов.

– За пять, – сказал я механически.

Он помотал головой:

– За десять, – наклонился и стал разматывать шланг, давая понять, что разговор окончен.

– Поехали, – вздохнул я.

Он кивнул и бодро потащил куда-то шланг и канистру, а я подумал:«Ну и работнички у них здесь». Впрочем, заговаривая бред, я вообще старался больше думать о быте, и никакого настоящего осуждения в моих словах не было.

Потом он вышел, уже в белой майке и старых кожаных сандалиях. В руках у него были грязные очки для плаванья. Мы пошли на пляж.

– Меня зовут Джим, – сказал он.

– Ты какой-то странный, Джим, – пел я, заговаривая злобную темень, которая снова наползала на меня, – я что-то не пойму, все едут из Пуэрто-Рико в Нью-Йорк, а ты из Нью-Йорка в Пуэрто-Рико. И вид у тебя странный, – выводил я рулады, – я поначалу подумал, что ты местный, а теперь уж и не знаю.

Джим несколько оживился.

– Да, это редко, редко бывает. Я наполовину латин, наполовину ирландец.

– Латин? Латин? Ты не похож на латина. Может быть, в тебе больше испанской крови?

– Ага, – сказал он с тихой гордостью. – Мой дедушка жил на Канарских островах. Он был испанец. Потом он приехал на Пуэрто-Рико. Он там что-то такое натворил на Канарах. И здесь он женился на моей бабушке. А она негритянка.

– Негритянка? – ахнул я притворно.

– Негритянка, да. Видите, у меня волосы немного вьются? Это от нее. Может быть, когда я женюсь, у меня родится черный ребенок. Совершенно черный, представляете? О таких вещах надо всегда заранее предупреждать, а то как выскочит негритянская кровь, все будут думать, что твоя жена переспала с негром. Люди не любят, когда в белых семьях рождается черный ребенок.

– Да уж, – поддакнул я.

Мы вышли на пляж, к скалам. Джим начал отвязывать моторку. Контролер, болтавшийся у водных велосипедов, что-то крикнул ему.

– На хуй пошел, – буркнул Джим себе под нос и кивком пригласил меня в лодку.

Он оттолкнулся от скал, включил мотор, лодка задрала нос, и мы полетели сначала вперед, в море, а потом направо, к мысу. Вокруг было много водных велосипедов, Джим хмуро лавировал между ними. Мотор ревел, я почти не различал шума реактивного самолета, взмывавшего как раз сейчас в небеса. Берег достаточно быстро уносился куда-то.

Стал приближаться мыс. Он терял свою плотность, будто его быстро и неаккуратно стригли. Из курчавой рощи он превратился в скопище отдельных, стоящих довольно редко пальм. Пальмы были очень высокие, и их шевелящиеся кроны походили на паучков, взгромоздившихся на соломинки.

Джим заглушил мотор; наш полет по морю стал остывать.

– А мой отец ирландец, – сказал он, поворачиваясь ко мне. – Поэтому у меня на носу веснушки. Если у меня родится черный ребенок, вот будет смешно.

Я вдруг сообразил, что не захватил с собой плавок. Привычная рабская паника охватила было меня, но я тут же посмеялся над собой, стянул джинсы и спросил Джима:

– Ну, где тут нырять?

Он как-то серьезно посмотрел мельком на мою наготу и сказал:

– Можно прямо здесь, – и протянул грязные очки. – Только выбирайтесь из лодки очень осторожно. Она может перевернуться. Я буду держать, но вы все-таки осторожно.

Лодка шаталась, как моя жизнь. Я перелез за борт, сполоснул очки и поплыл.

Рифы были мертвые. Вообще, когда читаешь книги про аквалангистов и видишь по телевизору фильмы, которые на самом деле снимаются под водой с сильной подсветкой, рифы представляются чем-то весело-барочным. В действительности риф готичен: темные шпили, зазубрины, провалы, вертикали, бесчисленные ниши с несметными химерами – рыбами, которые показываются из них, посланцы зазеркалья. Полукружности же, массивные ли, ажурные ли, как окно-роза над входом в готический собор. И миллионной толпой в день выноса мощей бесчисленно стелется по дну песок... Ты проплываешь над этими соборами и площадями, ожившими химерами и толпами, как Святой Петр, и видишь истинную жизнь этих городов, на которые ты бросаешь свою устрашающую тень и которые полностью в твоей власти: ты можешь обрушить целый собор, ты можешь выбить окно-розу, ты можешь передушить скользких, увертливых, но все же смертных химер, а песок-толпа под тобой будет колыхаться на коленях и славить грозного Бога...

Этот же риф, будучи мертвым, вообще выглядел, как Дрезден после бомбардировки союзной авиации в 1944 году. Скелеты соборов; провалы; все черно; обглодано; потеряло замысленную форму; пусто.

Раз или два я видел, как рыбка-химера высовывалась из полуразрушенной грязной ниши: сирота, беженец, обессилевшее ма-

гическое существо, которое вопияло мне: «Что вы сделали со мною и со всеми нами!»

У меня появилось чувство, что через мгновение и я буду разбомблен, а может быть, уже и сейчас неживой и точно так же высовываюсь из своей смертной ниши и утомленно укоряю кого-то.

Я поспешил вылезти из воды.

Джим помог мне забраться в лодку. Я лег на спину и закрыл глаза.

– Мало поплавали, – сказал Джим неуверенно, боясь, что я не дам ему обещанных десяти долларов.

– Нормально-нормально, – успокоил я.

– Моя бабушка – та, которая негритянка, – умница что надо. Моя сестра должна была выходить замуж. И семья того парня очень переживала, что ребенок может родиться черным. Тогда сестра познакомила их с нашей бабушкой, и они успокоились. Она им понравилась. Они до сих пор дружат с ней. Хотя моя сестра так и не вышла замуж за того парня.

– Так почему ты приехал на Пуэрто-Рико? – спросил я, приоткрывая глаза (Джим сидел на корточках и смотрел в сторону).

– Я не люблю Нью-Йорк, – сказал он. – Наркотики. Я сам кололся. Немного, поэтому смог бросить. Здесь все по-другому. У бабушки тут дом. Я присматриваю за ней. Когда-нибудь дом будет моим.

Он сумрачно посмотрел в мою сторону.

– В Америке таких домов нет. Это пуэрто-риканский дом. Маленький. Совсем, совсем маленький... Вы обгорите. У вас есть с собой крем?

– Нет, – ответил я, начиная одеваться и с раздражением чувствуя, как соль стягивает мои плечи корсетом.

– Назад в отель? – спросил Джим, протягивая руку к мотору.

– Я хочу посмотреть петушиные бои, – заявил я.

– Они по пятницам.

– Жаль.

– Если вас устроит, – сказал он, поколебавшись, – у моего приятеля есть бойцовые петухи. Может быть, он покажет петушиный бой. Это у него на ферме. Надо позвонить.

– Так позвони, – попросил я. – Позвони из моей комнаты.

Мотор заревел, и мы понеслись на петушиный бой.

На пляже я дал Джиму десять долларов. Он поблагодарил и аккуратно спрятал деньги в карман шорт.

Пока я принимал душ в номере, смывая мерзкую соль, он звонил приятелю.

– Он просит тридцать долларов, – шепнул Джим, отрываясь от телефона. – Но он приедет за нами на машине.

– Годится.

Джим буркнул что-то в телефон и повесил трубку.

– Я буду ждать вас у входа, – сказал он нерешительно. – Мой приятель – его зовут Карлос – будет здесь через сорок минут.

– Какого черта, – сказал я. – Спустимся в бар выпьем пива.

Он покачал головой:

– Я работаю в этой гостинице.

– Тогда пойдем в какой-нибудь бар за углом.

– Не надо на меня тратиться, – ответил он просто. – У меня нет денег. Той десятки, которую вы дали, должно хватить до пятницы.

– Нормально, – сказал я.

Бар за углом оказался, как и следовало ожидать, стеклянным сараем с оглушительной музыкой.

– Что ты будешь пить?

Джим заказал самое дешевое пиво; деликатно отхлебнул из стакана:

– В Нью-Йорке мы жили в Ист Вилледж. Ист Вилледж ничего, но только до Второго авеню.

– Я, между прочим, из России, – сообщил я.

Джим кивнул:

– В Нью-Йорке у меня были друзья из России.

И он снова стал рассказывать про своих сестер, которых у него было пять или шесть. У каждой имелась какая-то сложная история, предшествовавшая замужеству. Я не слушал, а думал про другое.

Когда я признавался, что я из России, людям, примерно равным мне по моему бывшему положению, они всегда задавали

убийственное число вопросов о России и о моей жизни там. Но на самом деле их любознательность носила сугубо эгоистичный характер, она должна была подтвердить или, в худшем случае, опровергнуть их собственные теории относительно России. Я был для них лишь образчиком русской особи, а за равное им человеческое существо они меня не принимали.

Бедные – по-настоящему бедные, у которых перед еженедельным чеком оставалось ровно 65 центов на автобус, чтобы доехать до овощной лавки, в которой они работали, и не оттого, что они тратили деньги на героин, а оттого, что они были, черт возьми, действительно бедными, – так вот они, как правило, ни о чем не спрашивали. Иногда они интересовались: «Зачем ты приехал в эту страну?», и когда я, не вдаваясь в свой бред, отвечал: «За деньгами», они понимающе кивали и задумчиво повторяли: «За деньгами...» Если они в данный момент лечились у психиатра, который учил их быть напористыми и ничего не стесняться, они спрашивали: «Ну, и что ты думаешь обо мне?» Но, как правило, они ни о чем не спрашивали, а говорили сами – в основном о своих семьях, которые занимали их по-настоящему, как занимала семья, например, Джима.

Они могли неуклюже, с отчаянием бедности, попросить у меня пять сигарет (или две, или семь), потому что до зарплаты оставались еще день или полдня, а курить хотелось очень. У них всегда были деньги на сигареты за полтора дня до зарплаты, и обычно им хватало, но иногда они нервничали и курили слишком много. Больше они меня никогда ни о чем не просили, и, справив секс в их крохотных квартирках, которые домовладелец не ремонтировал, потому что презирал бедных, я сам вызывался купить пива или вина.

Они не были ангелами, но что было в них и что начисто отсутствовало в моих друзьях и любовниках, якобы равных мне по моему прошлому положению, – это то, что они видели во мне своего, равного, а не счастливца-чужака, которому богатая Америка оказывала очередное благодеяние. И, прикрывая за собой дверь, покидая их трущобы, я ощущал особую, неописуемую, плотную теплоту *равенства*, которой никогда не испы-

тывал со своими богатыми друзьями, даже когда бывал в них влюблен.

Джим рассказывал о какой-то необыкновенно взбалмошной сестре, потом посмотрел на мои часы и сказал, что нас, наверное, уже ждут.

Приятель действительно стоял у входа в гостиницу. Пикап его был грузовой, в кабину помещались только двое, и Джиму пришлось ехать в маленьком и очень грязном кузове.

Карлос был толст; он находился в том роковом для латинов возрасте, когда они ощущают себя зрелыми мужчинами и ведут себя, как конквистадоры.

Он хлопал меня по плечу, пробовал передоговориться о цене, запрашивая уже пятьдесят долларов, но моя бедность тоже умела сопротивляться, и я стоял на тридцати.

По дороге выяснилось, что он работает механиком, что Джим звонил ему на работу, что дома у него телефона нет и что дом его стоит в предгорьях Сьерры.

Дорога действительно пошла в гору; по обочине потянулись долговязые рощи; цветов, впрочем, не было.

Карлос лихо свернул направо, и мы помчались по пыльной красноватой дороге куда-то вовсе вверх, под небеса, наконец машина остановилась у худого домишки, крытого рифленым железом.

Я вылез из кабины. После тряски и грохота я словно плыл куда-то в тишине. Пахло кисло и неприятно.

Из двери выглянула женщина с лоснящимся лицом; Карлос замахал руками; она закивала и скрылась. Карлос повел нас за дом, в загон, огороженный проволочной сеткой. Женщина принесла синий кувшин с водой и стаканы. В кувшине плавал лед. Значит, холодильник у них все-таки есть, подумал я.

С воркованием кудесника Карлос скрылся в темном сарае; оттуда послышалось злобное кудахтанье; он вынырнул, неся подмышкой двух здоровых петухов – черного и рыжего.

Петухи были хороши: гладкие, яркие, похожие на рыцарей-кентавров.

Карлос пустил своих кентавров на землю, и они безо всякого энтузиазма стали довольно мирно ходить один вокруг другого.

– Забияки! Бойцы! – нахваливал их Карлос и подло стравливал. Но петухи явно были рады солнцу, возможности поковыряться в земле в надежде найти проблематичного червяка и драться вовсе не собирались.

Так прошло не знаю сколько времени. Все это стало очень скучно. Я посматривал на отроги Сьерры, над которыми завился сиреневый дым. Было ясно, что никакого петушиного боя не будет.

– Все! – провозгласил Карлос, подхватил петухов и уволок в сарай.

Снова появившись в загоне, он отер пот и протянул руку жестом билетера.

Я вытащил двадцать долларов.

– Как?! – взревел Карлос. – Всего двадцать?!

– Но ведь боя-то не было.

– Двадцать долларов за то, что я испортил двух боевых петухов?! Сто! Давай сто!

– Еще чего, – сказал я скучно.

Джим сморщился и что-то произнес по-испански.

– Мудак! – завопил Карлос. – Мудак стоеросовый! Деньги! Деньги! – он стал наступать на меня. – Деньги! – и ткнул меня кулаком в грудь.

– В полицию хочешь? – ощетинился я.

– Какая полиция, – смеялся Карлос зловеще, – ты же пидорас! Пидорас! Ты хотел изнасиловать Джима! Петушиный бой! *Петух*!

– Прекрати! – крикнул Джим, отводя кулак от моего плеча. – Идиот!

– Ты же сам сказал мне, что он пидорас! – заорал Карлос. – Что он без штанов перед тобой лежал!

– Ублюдок, – сказал я не очень уверенно.

Дальше произошло что-то вовсе несуразное. Карлос ловко заломил мне руку, я со стоном перегнулся пополам, лицом к земле, в которой проклятые петухи только что искали червей. Кра-

ем глаза я видел, как Джим рванулся перехватчиком на помощь мне, но Карлос метко лягнул его в коленку, и Джим завыл, опускаясь на землю.

Ругаясь, Карлос потащил меня куда-то в полусумрак, сильно толкнул, напоследок вывернув руку еще сильнее; я упал.

Когда я поднялся, то понял, что нахожусь в маленькой темной комнате почти без мебели. Дверь была только одна и вела во двор, где разворачивался скандал, в который вступила и женщина.

Я присел на кровать, покрытую засаленным, когда-то белым, покрывалом. Окна были закрыты матовыми жалюзи, сквозь которые я смутно различал театр теней. Я не знал, как поднять жалюзи. Внезапно у меня пропала охота сопротивляться; я был готов отдать Карлосу сто долларов и, может быть, даже все деньги, которые у меня были.

Я огляделся. По углам расползлась плотная паутина. Над кроватью висело черное деревянное распятие. Я прилег и зажмурился. Голоса не только не стихали, а, наоборот, перешли в истерический визг.

Внезапно на пике вопля дверь в комнату распахнулась. Открыв глаза, я увидел Карлоса. Он задыхался, рубашка его взмокла, была растегнута до пупа, и в черной шерсти золотым руном колыхался толстый нательный крест.

– Пойдем, – сказал он и достаточно галантно махнул рукой.

Во дворе перед загоном женщина, все еще отчаянно визжа на Джима, быстро накрывала на стол. Карлос прикрикнул на нее, и визг смолк, как будто женщину выключили.

Карлос вежливо придвинул мне белый пластиковый стул, на который я не без опаски уселся.

Джим угрюмо полулежал на земле.

Женщина расставляла стаканы; бутылка рома отчаянно потела.

– Мы друзья, да? – говорил Карлос, заглядывая мне в глаза. – Да? Ну чего не бывает между мужчинами. Ну поспорили. Сейчас выпьем, а потом я отвезу вас обоих в город. Тридцать долларов – как договорились.

– Тридцать долларов? – воскликнул я, неожиданно для себя. – За то, что ты мне руки крутил, я еще и платить буду?!

– Слушай, – сказал Карлос деловито, – в суде мое слово против твоего слова. Ты ведь эмигрант, так? За Джимом ухаживал – так?

– Вот уж нет, – сказал я решительно.

– Твое слово против моего слова. Ох, слушай, сейчас моя жена нас обедом покормит, такой обед в ресторане стоит *сто* долларов, пей ром, сколько выпьешь. Потом с Джимом по Сьерре погуляешь. А потом я тебя в город отвезу. А? Сьерра! Тебе такая экскурсия в отеле двести стоить будет!

Все это принимало какие-то фантасмагорические очертания, и я сказал:

– Хорошо. Тридцать.

Карлос просиял, хлопнул меня по коленке и стал разливать ром.

Обед был неплох, рома выпили много, и когда Карлос стал зевать, я пьяно сказал Джиму:

– Ну, пошли в Сьерру.

Он странно посмотрел на меня.

– Иди-иди! – строго прикрикнул Карлос.

Сьерра держала на своих плечах уже не сиреневый дым, а фиолетовые тучи. Мы лезли в гору. Я шел впереди, обливаясь потом. «Не надо было столько пить», – смутно подумалось мне.

Откосы плыли вниз в жухлой жесткой траве. Ближайший скалистый отрог Сьерры стоял рогом. Запыхавшись, я остановился и огляделся. Слева, во влажной чаще, покрывавшей глухой овраг с дохлым ручьем, зажегся красный огонь.

Это был громадный цветок, прилепившийся к корявому стволу дерева, цветок лианы, должно быть. Он магнетически сиял над бездной. Больше кругом ничего яркого не было.

– Посидим здесь, – предложил я Джиму.

Он сел и стал сумрачно смотреть в землю.

– Я, пожалуй, посплю, – сообщил я, перебрался в тень, скинул майку и пристроил ее под голову.

– Что? – спросил Джим, не глядя на меня.

– Змей отпугивай, вот что, – сказал я.

Когда я проснулся, было уже не так жарко. Солнце ушло за лес, и цветок совершенно потерялся в чаще. Джим сидел, каза-

лось, не шелохнувшись с тех пор, как я пристроился подремать. Он чертил что-то прутиком по земле.

– Пошли к твоему бандиту, – сказал я.

Карлос уже гулял по двору, голый по пояс, отвратительный.

– Долго ходили, – подмигнул он и похабно заржал.

– Я спал, – объяснил я.

– Ну конечно.

Мы уселись в его ландо и помчались в город. По дороге Карлос молчал, иногда хмыкая своим мыслям и куря в окно. У отеля я дал ему тридцать долларов. Он небрежно козырнул мне.

Джим стоял на ступеньках, подслеповато моргая в лиловых сумерках, которые свалились на остров внезапно, как всегда бывает в тропиках.

– Ладно, – сказал я, протягивая ему руку. – Пока.

Он вяло ответил на мое рукопожатие, глядя в сторону. Потом пробормотал:

– Здесь есть пляж ... между Ла Кончей и Дюпон-Плаза ... там вечером можно ... если хотите... провожу...

Я не видел его лица; в темноте он был похож на сгорбившуюся химеру, классическую, прямо из Нотр-Дам.

– Лучше бы ты оставался в Нью-Йорке, парень, – сказал я и пошел в вестибюль.

Приняв душ, я решил пойти на пляж искупаться. Ночью вода могла показаться чище.

Под дверью лежала свернутая бумажка. Я нагнулся и увидел, что это была десятидолларовая купюра.

Я повертел ее и неожиданно ощутил, как еще ноет рука после бандита-Карлоса. Мне неожиданно расхотелось куда-либо идти; я разделся и лег в кровать: смотреть телевизор и ждать сна. Ждал я долго; какая-то девица хохотала на соседнем балконе; ревели самолеты; телевизионные программы были, как всегда, бессмысленны; я думал о том, что у Джима совершенно нет денег, а зарплата у него только в пятницу. И лишь далеко заполночь я наконец вырубил телевизор и ушел в нехороший, душный сон.

А утром полил дождь. Он был стальной и хлыщеватый; в его напоре чувствовалась тяжелая мужская элегантность, и я вспомнил рекламу американской туалетной воды.

На балконе дождь показался мне почти холодным. Я с трудом различал залив; было видно только пятна крыш и смазанные силуэты пальм. Тянуло затхлостью. Почему-то я подумал, что так, наверное, пахнут пауки.

В вестибюле я купил гадостный китайский зонтик и поспешил на улицу – ловить такси.

Пуэрториканец-водитель шутил со мной, а я тоскливо соображал, насколько кружным путем он меня везет, чтоб содрать побольше денег.

Дома, проплывавшие мимо, были какие-то казарменные, белые, с тараканьими разводами по низу и решетками на окнах, хорошо знакомые мне по Азии.

Я вздохнул. В свое время в очереди на фуникулер на сингапурский остров Сентозу я заприметил в трех шагах впереди молодого путешественника с серьгой в ухе, расхристанного, как битая ромашка, напряженного, как стебель на ветру, и озирающегося. Он неуверенно смотрел на меня, пока кабина плыла на остров. Было ясно, что он еще не *определился*. На Сентозе я сделал вид, будто страшно занят в сувенирной лавке, а когда вылез наружу, выяснилось, что мой завлекающий прием не сработал и молодой путешественник исчез.

Наконец, я увидел колониально-испанские дома, приказал остановиться, нещедро расплатился и нырнул в дождь.

Крутые улицы были пусты; пусты были и ажурные балкончики (ни синьорит, ни цветов). Дождь плескал на розовые стены и вознесенную поближе к небесным вратам статую предприимчивого Колумба. Я поблуждал по улицам, сунул нос на океан, который был иссечен дождем, не пошел в форт, о котором читал в проспекте, а побрел по улице незнамо куда.

Как ни строил из себя Сан-Хуан испанский город, а все едальни были американскими, и все это было мне скучно.

Вдруг я увидел табличку: «Галерея бабочек. Второй этаж».

Бабочки, уныло думал я, может быть, и вернут меня в тропики из этого дождя, больше всего напоминавшего неисправный сипящий душ в провинциальной бане в России.

Бабочки действительно размещались на втором этаже. Не могу сказать, что я ахнул, но все же приятно было увидеть эту дробную радугу на стенах.

Отмахнувшись от хозяйки, я сделал круг по залу.

Хорошая бабочка стоила, как ночь в отеле, и к тому же была не Бог весть как хороша. Почему-то у всех были отодраны усики и лапки, при ближайшем рассмотрении каждая напоминала мертвечинные уроки природоведения или чего там еще, что мы проходили в начальной школе.

Впрочем, было три плексигласовых контейнера, которые меня удовлетворили: лапки или не лапки, но в них были стаи сиренево-розовых, упоительных, радужных. Я посмотрел на цену и вздохнул. На пятьсот долларов я жил в Ньюарке месяц.

Через белый крытый дворик на том же этаже было кафе. Неизвестно, подумал я, на чем они здесь делают деньги: на бабочках или на кофе.

Я сел за столик. На нем была белая скатерть; в кадках вились, как змеи, какие-то крепкие зеленые гады. Кофе подали неплохой и очень горячий. Я чертил пальцем по столу и, как всегда в последнее время, старался ни о чем не думать.

Через два столика сидел черноволосый мужчина лет тридцати пяти с какими-то гротескными усами. Он был длинноног и узок в плечах, крутил ложку, взглядывал на меня и тут же опускал темные глаза.

– Дождь, – сказал я громко.

– Дождь, – откликнулся он. – Плакали мои ебучие каникулы.

– Я-то из России, – сказал я, – а откуда ты с таким акцентом?

– Из Америки, – отозвался он обиженно и погладил чашку.

– Я понимаю, что не из Гваделупы, – сдерзил я. – Откуда родом-то?

– Я хорват, – ответил он и глянул затравленно.

– А чего ты так дергаешься? – спросил я, закуривая. – Здесь вроде не стреляют.

– Война, – сказал он нервно. – Никто не любит эмигрантов из Югославии.

– Никто никого не любит, – отозвался я. – Пора к этому привыкнуть.

Он хмуро смерил меня взглядом.

– Вот, – сказал он, помолчав, – снял машину, а в такой дождь ездить глупо. Не то, чтобы я боюсь водить, – заторопился он. – Я вожу в любую погоду. Просто в дождь скучно.

– Ничего не скучно, – возразил я, – можно разбиться. Взял свой кофе и пересел к нему за столик.

Некоторое время он смотрел на меня молча; его глаза напоминали перезревшие вишни, вполне переспелые, но еще не успевшие сморщиться.

– Твои глаза еще не сморщились, – сказал я.

Он не понял и оттого заговорил еще напористей.

– Я живу в штате Мэйн. Горы. Нет, холмы. Там есть одна дорога над морем. Очень, очень узкая. И очень, очень извилистая. Как улитка. Опасная. После шести вечера на ней одностороннее движение. Я выложился и купил спортивную машину. И после шести гоняю по этой дороге. Сколько хватает двигателя. Это тренирует нервы.

Он с вызовом глянул на меня. По стеклянной крыше дворика пощелкивали каштаны дождя.

– А жена знает о твоих проказах? – спросил я.

– У меня нет жены.

Я загасил сигарету.

– Поехали ко мне в гостиницу, – сказал я. – Ты, надеюсь, недалеко запарковался.

Он наклонился к чашке, как будто гадал на кофейной гуще, а потом пробормотал:

– Нет, совсем рядом.

Когда мы вышли из дома бабочек, дождь почти перестал. Он превратился в редкую морось. В просвет между домами было видно, как над океаном по-китиному разворачиваются темно-розовые тучи.

– Как тебя зовут?

– Джеф.

– А по-настоящему?

– Я американец, – сказал Джеф хмуро.

Даже здесь, на этом Пуэрто-Рико, Джеф арендовал дорогую спортивную машину, похожую на гуппию, переросшую аквариум.

– Можешь курить, – сказал он. – Я сам иногда курю.

И я курил; в молчании мы доехали до гостиницы; Джеф запарковался в подземном гараже, через который я позавчера шел босиком с пляжа и в котором вчера Джим подумал, что я хочу обчистить машину.

Мы поднялись в номер. Снова гудел самолет, но с балкона на этот раз тянуло свежестью.

Я посмотрел на Джефа.

Он криво улыбнулся и покачал головой.

– Я знаю, к чему ты ведешь, – сказал он. – Но мне всегда нравится только прелюдия.

– Ну и черт с тобой, – сказал я. – Одностороннее движение. Ты это любишь.

Джеф взял стул и ушел на балкон.

«И как ему там не мокро», – только и подумал я.

Некоторое время я посидел на безупречно застеленной кровати, потом закурил и набрал номер в Москве, который я, вероятно, по инерции произнесу, даже входя в рай.

Или в ад.

В трубке были долгие гудки, потом моя жена своим звенящим, как кимвал, голосом сказала:

– Алло?

– Это я.

– Кто?

– Я.

– А... – и она замолчала.

– Закури, – сказал я. – Я знаю, ты всегда волнуешься, когда я звоню.

– Во-первых, – заявила моя жена назидательно, – я бросила курить. А во-вторых, я совершенно не волнуюсь. Мне просто неприятно.

– Оставь, – сказал я. – Не выебывайся. Давай поговорим.

– Ну что, – спросила моя жена, снова помолчав, – ты все еще в своем Ньюарке?

– Нет. Я на Пуэрто-Рико.

– Где?!

– На Пуэрто-Рико. Есть такой остров. Рифы, пальмы, мулатки, пино-коладо.

– Что такое пино-коладо?

– Я еще не пробовал, но говорят, что это кокосовый сок с ромом.

– М-да, – сказала моя жена. – У нас *четырнадцать* градусов.

– А у нас дождь, – сообщил я и посмотрел в окно. Джеф откинулся на стуле; его ноги определенно заливало.

– У вас? На Пуэрто-Рико? – и она нехорошо засмеялась.

– У них. На Пуэрто-Рико, – уточнил я.

– Ты что, теперь там работаешь?

– Нет. Я просто приехал. Так.

– Что значит «так»?

– Помнишь, как я в свое время бежал в Новгород? А потом в Боровск?

– О Боже, – протянула она без особого сочувствия. – Снова здорово. В Боровск было бежать дешевле, ты не находишь?

– Этак раз, пожалуй, в сто, – сказал я.

– Подожди, – забеспокоилась она, – ты что, из гостиницы звонишь?

– Ага.

– Это же безумно дорого! Идиот! Мы проговорили уже минут десять! Ты представляешь, что можно купить здесь на эти деньги?

– Не десять, а пять. Как у тебя дела?

– Дела? Тут заворачивается что-то с этим вашим Брайтоном, где эмигранты живут.

– Я там не живу, – сказал я.

– Ты, я думаю, живешь в еще большей жопе. По обыкновению. Так вот, наша студия подрядилась снимать фильм на деньги вашего Брайтона. Ну, как русские приезжают в Америку и все над ними смеются, они там в магазинах обалдевают, и все такое прочее...

Не отнимая трубки от уха, я подошел к балкону.

Джеф смотрел куда-то в сторону. Я проследил за его взглядом; на соседнем балконе стоял белесый мальчик милицейского вида в черных плавках и белой майке. Он уцепился за перила, оттопырив плечи, как бабочка, севшая на мокрый, поэтому опасный цветок. Я различал темный, намокший пух на его ногах. Хотелось, чтобы он снял только майку – одну только майку; а больше ничего не хотелось.

– Слушай, – сказал я, прерывая жену на полуслове, – приезжай ко мне.

–... и очень, очень маленькие деньги, – договорила она и осеклась.

– Я не буду вешаться на Пуэрто-Рико, – пообещал я. – Я серьезно. Скорей всего я прямо завтра же полечу обратно в Нью-Йорк. Или сегодня вечером. И оттуда пришлю тебе вызов.

Она молчала.

– Я хочу, чтоб ты прилетела.

Она не говорила ни слова.

– Как-нибудь проживем, – сказал я. – Если ты не выходишь замуж за миллионера.

– Ты что, выпил? – спросила она наконец.

– Отчего же? Я даже не знаю еще толком, что такое пиноколадо.

– Что ты, что ты говоришь...

– Я знаю, что говорю. Завтра утром или даже сегодня вечером я полечу в Нью-Йорк. А оттуда я все устрою.

– Ну ты отдохни, – сказала она неуверенно. – Зачем же сразу в Нью-Йорк.

– Я так хочу.

Она снова замолчала.

– Не надо думать, – попросил я. – Приезжай.

– Позвони мне из Нью-Йорка, – сказала она, озадаченно выдержав паузу.

– Из Ньюарка, – сказал я. – Я живу в Ньюарке.

– Ну из Ньюарка, – повторила она машинально. – Но сначала отдохни, – добавила она, спохватившись, – как следует отдохни, а только потом звони.

– Хорошо, – сказал я. – Целую, – и повесил трубку.

«Интересно, будет ли она кому-нибудь звонить сейчас, – подумал я. –А если будет, то кому».

Джеф вернулся в комнату.

– Поболтал? – спросил он меня.

– Ага.

– Можно, я приму душ?

– Это то, что ты делаешь после прелюдии?

– Да, – сказал Джеф и покраснел.

Пока он был в ванной, я лежал на кровати, закинув руки за голову. Минут через десять, не глядя на меня, Джеф вышел из ванной (волосы его были сухи), промаршировал в коридор и, не говоря ни слова, хлопнул дверью.

Некоторое время я лежал неподвижно, потом набрал номер портье и сказал:

– Пожалуйста, два пино-коладо в 1024-й. И поменьше льда.

Потолок был белый-белый, только вокруг светильника расползлось рыжеватое пятно.

В дверь постучали, и мне пришлось встать.

– Приятного отдыха вам и девушке, – пожелал мальчишка-рассыльный, осклабясь и глядя на дверь ванной, где, по его понятию, должна была скрываться девушка.

– Спасибо, – сказал я и дал ему доллар.

Пино-коладо напомнил мне кубинские сигареты со сладким фильтром, которые я курил в юности лет двадцать назад.

Я подошел к окну.

Пальмы гнулись под ветром, как будто тот хлебал через них коктейль без удержу. Я ускорил темп и взялся за второй стакан. Надо было выпить его, прежде чем лед начнет таять. Растаявший лед делал любой коктейль безвкусным или, вернее, придавал ему вкус сырой воды. Даже пино-коладо.

Я забрал второй стакан в кровать, быстро допил его и поставил на столик, уже зная, что он оставит на полировке мутновато-грязный след. Проблемы горничной, подумал я.

Я думал про мальчишку-рассыльного. Может быть, нужно было дать ему больше чем доллар? Ведь он все-таки принес

два стакана. Может быть, полагается давать по доллару за каждый? Я думал о своей жене, как она, должно быть, бродит сейчас по нашей – все еще не ее – московской квартире и думает, кому позвонить, а главное, что сказать. Я думал о Джефе, о том, как он, снова бессмысленно опустошенный, гонит машину по шоссе, сжав зубы и морща лоб.

Внезапно дождь за окном усилился и стал точно таким, каким был с утра: беспощадно-уверенным, прямым, как ковбой, блестящим, как бляха на ремне ковбоя. Ветер пригоршнями кидал струи на стекло, и окно дрожало.

Я знал, что значит вести машину в такой дождь. «Дворники» не помогают, ты ничего не видишь, и тебя относит к смертоносной обочине. Впрочем, Джеф рулил по горным дорогам в Мэйне, над морем; ему не привыкать.

Внезапно мне очень захотелось спать. «Уж не подмешали ли мне что-нибудь в пино-коладо, – пронеслась смутная мысль, – чтобы обчистить мой номер?»

Я повернулся спиной к окну, подложил ладони под голову и приготовился спать долго, без сновидений и без бреда.

Дождь за окном все усиливался, хотя усиливаться дальше ему, казалось, было невозможно, если только не наступал конец света.

Оставив правую руку под щекой, левой я прикрыл плечо и подумал:

«Хорошо, что не я сейчас за рулем».

1994 – 1995

ПРЫЖОК ЗА ВАМИ

В первой сводке о потерях в ходе операции под Гератом имя генерала Л. не значилось. Сводка, которую получили в Москве, сообщала, что в ходе двухдневных боев погибло семь человек, из них самый старший – в чине сержанта.

– Хорошо! – сказал начальник в Москве и прихлопнул сводку пухлой рукой с обручальным кольцом в знак своего полного и окончательного одобрения. – Вот как надо воевать, – зачем-то обратился он к адъютанту. Адъютант тоже непонятно почему кивнул, а начальник пригладил волосы и поехал докладывать еще большему начальнику.

Между тем в это время командование в Афганистане решало, как сообщить Москве о том, что случилось после того, как была отправлена злополучная сводка. Сообщать надо было срочно, потому что генерал Л. был в первую очередь именно что генерал, и то обстоятельство, что он был любимцем начальства и уважался в войсках, было уже второстепенным.

Случилось же вот что.

Помимо четырех-пяти важных, но, в сущности, малозначащих людей дерзкой и молниеносной операцией под Гератом командовал капитан Алексей Михайлов. Ему шел двадцать восьмой год, к тому времени он уже имел орден Красной Звезды, который заслуживают кровью, о нем говорили как о в высшей степени грамотном, самостоятельном, но соблюдающем всю должную субординацию офицере, и, по общему мнению, перед ним открывалась самая блестящая карьера.

Наставляя Михайлова, командир полка обозначил как редкую дерзость предстоящей операции, так и приятные для Михайлова последствия в случае благоприятного ее исхода.

– Учись у жидов, – говорил командир полка, имея в виду недавний рейд израильтян в Ирак, когда там был хирургически, как опухоль, уничтожен строящийся арабский ядерный реактор. – Прилетели, на головку сели. А на кого птички по дороге насрали, неважно. И тебе, если дело сделаешь, майорские погоны навесим, а может, еще и орденок в водке поболтаем.

Капитан Михайлов козырнул и пошел набирать людей. Дело было не просто до крайности опасным, но и почти непосильным физически, поэтому капитан не мог полагаться на добровольцев, и надо было отобрать именно тех, кто сдюжит.

Михайлову не было нужды выстраивать своих людей; несмотря на то, что они постоянно обновлялись, – кто демобилизовывался, кто по причинам, о которых Михайлов думать не хотел, выбывал из строя – он знал своих людей лучше, чем крестьянин знает то вечное, неизменное поле, которое из года в год распахивает, помня, в каком месте рожь всегда взойдет редкой, а где, какой бы неблагоприятный год ни выдался, – тесным снопом.

Так и Михайлов знал, что один совершенно сверхъестественно видит в темноте, а другой и днем чужого ствола не приметит, что один устает на подъемах, а другой на спусках, что один быстро мерзнет, а другому всегда жарко, что один может бежать по обрыву, а другого каждая скала пугает, что один невероятно силен, но непомерно прожорлив, а второй слабоват, зато два дня подряд может отдавать свой паек первому, что один не выносит вида крови, а другой перевязывает раны так, будто завязывает галстук. Все это надо было без долгих размышлений просчитать, поставить в соотношение одно к другому и сделать быстрый и правильный выбор.

Все лучшее, что создала природа, было в распоряжении Михайлова: облитые мышцами, ставшие невосприимчивыми к тяготам низшего порядка, приученные к жизни в стае, все солдаты были в каком-то смысле сверхчеловеками, перешагнувшими тот болевой порог, который в обычной жизни вызывает

столько смятения. У каждого было свое уязвимое место, и редко кто был счастлив, но все вместе и каждый по отдельности они были гораздо сильнее тех, кто оставался на севере, во все еще нерастревоженной стране.

Люди были отобраны, растасованы и подогнаны один к другому, и все, казалось бы, обстояло просто превосходно, но какая-то нравственная заноза сидела у Михайлова в темени, вызывая чувство физической тяжести. Он никак не мог понять, чем был недоволен, и только когда вертолет уже валился в ущелье, неожиданно догадался, что не хотел брать сержанта Прохорова в дело.

Михайлов стал размышлять, почему бы это, и, как все люди, начал с причин несущественных. Ему показалось, что Прохоров, выполняя приказ, имеет тем не менее слишком независимое собственное мнение. Ему подумалось, что Прохоров при всей выносливости все же несколько хрупковат, что у него тонкая, не десантная, кость. Он даже припомнил, как однажды на столь же трудной операции он заметил на лице Прохорова выражение излишнего ужаса, когда они пробегали сквозь разбомбленный кишлак. Но, прокрутив в голове все эти малозначащие соображения, Михайлов как честный человек нехотя признал, что не хотел брать Прохорова в дело только потому, что оно было чрезмерно опасным.

Безжалостно идя дальше, Михайлов сказал себе прямо, что причина заключалась не в том, что Прохоров был недостаточно надежен для такого опасного дела, а в том, что он не хотел, чтобы Прохоров, и именно Прохоров, подвергался этой исключительной опасности.

По какой-то необъяснимой и непредсказуемой игре симпатий Михайлов, как он теперь понимал, слепо привязался к Прохорову, видя в нем младшего брата, как часто видят молодые офицеры в солдатах. Как и другие одинокие молодые офицеры, простирающие свою опеку на солдат, Михайлов не мог сказать, что его привлекло в Прохорове, с которым он толком-то и не говорил. Его безоговорочная готовность подчиняться разумным приказам и та укоризна в глазах, с которой он встречал приказы

неразумные? Его отъединенность от других солдат и его взгляд на офицера как на разумное существо, в принципе способное подняться над тоскливой рутиной военщины? Его стремление молча говорить с офицером, стоя в строю – глазами, умно и быстро? То, что он часто оглядывался, как бы ожидая, что вот сейчас рядом появится кто-то близкий? Или просто необъяснимое совпадение его облика, его лба, рук и коленей с тем расплывчатым образом младшего брата, которого Михайлову всегда хотелось иметь?

Так и не поняв, что привязало его к Прохорову, но понимая существование самой связи, Михайлов огорчился.

Он не уважал офицеров, которые выделяли кого-то из строя, не в том смысле, что давали незаслуженные награды (хотя такое тоже случалось), а в том, что старались уберечь от войны.

Михайлов не любил войны, но считал, что перед нею все равны. И вот теперь он, точный в определениях, понял, что дал непозволительную слабину.

Он покосился на Прохорова.

Тот равнодушно сидел, прочно задумавшись о чем-то своем, иногда трогая бритую шею тонкой, но уже испорченной армией, рукой.

Михайлов поморщился, сказал себе, что Прохорова надо будет по возвращении с дела перевести в другой батальон, и забыл о нем.

В первой стадии дела Михайлов о Прохорове действительно не думал. На это время Михайлов превратился в хищника штучной работы, чующего шкурой, чего делать не надо, и по чистому наитию выбирающего из всех путей и способов наилучший. Как однажды сам Михайлов признался за водкой, в ходе подобных дел в него словно вселялся кто-то чрезвычайно сильный и почти всезнающий. «Это тебе бог войны помогает», – икая, вымолвил майор-танкист, а Михайлов только крутанул головой и ничего не ответил.

Однако когда дело, совершенно по плану, вошло ночью в ту стадию, когда отряд Михайлова никого искать был уже не должен, а их найти еще не могли, Михайлов, обходя посты, наткнулся на Прохорова и все вспомнил.

– Квелый ты какой-то, – сказал он резко, стараясь быть неприятным. – Спать хочешь?

– Хочу, – согласился Прохоров с той особой легкой фамильярностью, которая всегда возникала в михайловском отряде в походе.

Он сидел, положив подбородок на высоко стоящие колени, и Михайлов подумал почему-то, что именно так сидят у воды мальчишки в том возрасте, когда они уже поняли, что хотят найти девушку, но еще никого не нашли.

– Ты у моря был? – спросил он неожиданно.

– У моря? – вздрогнул Прохоров. – Был.

Он хотел сказать что-то еще, но только вздохнул.

– Не дома, не вздыхай, – продолжал грубить Михайлов.

Прохоров вскинул голову:

– Я не потому, что боюсь из Афгана не вернуться, товарищ капитан, а потому что я в море так и не нырнул.

Михайлов опешил и засомневался, правильно ли понял то, что полушепотом сказал ему солдат.

– Чего «не нырнул»? – спросил он тупо.

Прохоров передернул плечами:

– Боялся.

– Как же ты в десант-то пошел? С парашютом прыгал? – поразился Михайлов.

– Потому что боялся.

Больше он ничего не сказал, но Михайлов неожиданно понял, что в другой батальон Прохорова не переведет.

– Ты же смелый, – сказал он грубо. – Какая разница, нырнул, не нырнул.

– А вы сами ныряете, товарищ капитан?

– Ныряю, – сказал Михайлов и с жуткой отчетливостью представил неотвратимую, прекрасную, как смерть, прыгающую в лицо плоскость воды и блаженный миг благополучного пронизывания этой поверхности, когда все сделано правильно, и тело вошло в воду, как литое, и можно сделать несколько ликующих гребков, видя вокруг расплывчатую зеленую муть, и только потом вынырнуть. – Ныряю, – повторил он, уже веселея. – Да я поначалу и сам боялся.

Это была ложь, Михайлов никогда и ничего не боялся, и когда учился нырять, то бесстрашно отбил себе живот и ноги, но ни разу не дрогнул. Михайлов знал, что солгал, и понимал, зачем это сделал. Внезапно его одинокое волхование над тропами, стволами и вертолетами лопнуло с треском, и он хотел сейчас стоять рядом с Прохоровым на волнорезе, смеяться и толкать его в воду.

– Я тебя научу, – шептал он задорно, трогая Прохорова за рукав, не отдавая себе отчета в том, как дико звучит эта фраза. Прохоров смотрел на него во все глаза и, кажется, тоже улыбался.

– Как же вы научите, товарищ капитан?

– А... – Михайлов запнулся, – воду найдем и научу.

– Здесь все реки мелкие.

– Вздор, вздор, – говорил Михайлов быстро, в упор глядя на Прохорова, – вздор, найдем. А пока смотри. Сначала выпрямляешься...

Он сидел на земле и изображал, как надо выпрямляться и поднимать руки, как нужно смотреть на воду, как отталкиваться и входить в нее теменем, не сгибая ног.

– Обязательно не сгибая ног, – говорил он убежденно, – а то некрасиво будет. Девушке не понравится, – добавил он, помедлив.

– А вы женаты, товарищ капитан?

– Нет, – споткнулся Михайлов и обиделся.

Прохоров поспешно спросил:

– Может, сначала «солдатиком» попробововать?

– Может быть, – отрывисто сказал Михайлов, глядя в сторону.

– Я плаваю хорошо, – заверил его Прохоров.

Михайлов фыркнул и чуть погодя спросил:

– А «баттерфляем» можешь?

– Нет. А как это?

Михайлов, не поднимая рук, попытался объяснить, как плавают «баттерфляем».

Тут они разом схватились за автоматы, потому что из темноты на них поползла тень. Но это оказался радист, который про-

шептал на ухо Михайлову, что план изменился и что отряд торопят.

– Ладно, – проговорил Михайлов медленно и неохотно, словно пробуждаясь, – ладно. Поднимай людей. Так прыжок за мной, – бросил он напоследок Прохорову, сохраняя мостик меж своей опасной одинокой жизнью и прекрасным волнорезом, на котором они только что стояли вдвоем.

– Прыжок за вами, – доверчиво повторил Прохоров.

Больше Михайлов не слышал от Прохорова ни слова. Уже по новому плану отряд обнаружил себя, и теперь его старались найти афганцы. Однако вопреки новому плану афганское окружение легло на склон горы, как кольцо серсо на штырь, и стало сжиматься вокруг отряда, и Михайлову пришлось вызывать вертолеты. А пока прилетели вертолеты, Прохорова убили.

Командир полка сказал Михайлову лично ехать к генералу Л., который временно квартировал неподалеку.

– Ты в дело ходил, тебе и докладывать, – сказал командир полка, который всегда давал ход своим офицерам.

Михайлов поехал. День был жаркий.

День был жаркий, и генерал Л., с несколько вызывающей смелостью занимавший дом и сад у разрушенной мечети, только что закончил водные процедуры. Пока Михайлов докладывал, генерал, внимательно слушая, с удовольствием проводил рукой по мокрым черным волосам. Михайлов докладывал механически, глядя в окно, и видел зеленую глазурь на куполе, неровно разломанном снарядом пополам, как орех, изогнутые деревья с впалыми животами, запруженный взрывом ручей, мывший их корни, и какие-то далекие темные развалины.

– Вот это герой! – сказал молодой генерал, хлопая Михайлова по плечу. – Такое дело, а потерь всего семь человек! Хорошо! Вот как надо воевать! – назидательно обратился он к адъютанту. Адъютант, не любивший действующей армии, изобразил восторг на лице и стал с улыбкой смотреть в спину Михайлову.

– Далеко пойдешь, – сказал генерал. – Ну, езжай отдыхать, капитан. Приказ тебя найдет, – и он заговорщически подмигнул Михайлову, давая понять, что приказ будет чрезвычайно приятный.

Михайлов посидел на обрубке стены у запруженного ручья, поглядывая то на мелкие листья деревьев, то на мертвую зеленую глазурь. В голове его уже несколько часов вертелась фраза «Прыжок за вами». Он вспоминал разговор с Прохоровым, пытался припомнить какие-то предыдущие разговоры с ним, но так ничего и не вспомнил. «Прыжок за вами, прыжок за вами», – повторял он про себя, и когда слова эти, казалось, уже превратились в окончательную бессмыслицу, Михайлов, напротив, обнаружил в них явное и определенное значение.

Он вернулся в дом, где квартировал Л., и попросил у адъютанта разрешения доложить генералу то, что он по усталости забыл сказать в прошлый раз.

Генерал готовил реляцию в Москву, но из уважения к геройству Михайлова велел его впустить.

– Что забыл, капитан? – спросил он, рассеянно перебирая бумаги на столе. – Мысли путаются?

– Товарищ генерал, – отрапортовал Михайлов, вытягиваясь в струнку, – в ходе операции погибло семь человек.

– Хорошо, – сказал генерал уже с некоторым неудовольствием; какая-то мысль шевельнулась в нем, и он пристально вгляделся в Михайлова, но Михайлов уже получил именно тот ответ, который замыкал некую цепь в его великолепном бреду, а поскольку никто в целом полку не был так ловок, то генерал Л., хотя тоже был опытный десантник, не успел даже толком удивиться, как Михайлов всадил ему три пули в переносицу.

После того как голова генерала стукнулась о стол, наступила тишина, и все последующее было уже абсолютно ясно всем присутствующим, даже мертвому. Генерала Л. в конце концов включат в список погибших в ходе операции под Гератом, адъютанта переведут в Одесский военный округ, где жила его мама, а следы капитана Михайлова совершенно потеряются в темных переходах трибуналов, тюрем и лечебниц.

– Прыжок за мной, – сказал Михайлов и, небрежно, через всю комнату, бросил адъютанту, спрятавшемуся под стол, свое оружие.

1994

МЕСЯЦ. ПОЛИГОН

Гриша приехал в военные лагеря с раскрытым ртом.

Азиатский раскаленный смерч, сплоченный сонм татарских душ, не нашедших успокоения в вечном синем небе, которому они так безбожно молились, терзал владимирскую землю, однажды уже сожженную татарами-во-плоти; как видно, их горячность не убывала и по смерти, и вечное синее небо, чтобы не опалиться, время от времени сбрасывало татар туда, куда они просились: на Владимирщину.

Пока студенты ехали в суставчатой электричке под окрики осмелевших отцов-офицеров, было весело, но зной пылал: трещавший в окнах воздух стирал кожу; придорожные поселки разметались, как пьяные бабы; леса разжались старой капустой; реки плашмя, всем виляющим собачьим станом уходили в хозяйку-землю; храм Покрова-на-Нерли шатался в аркане и шагал в муть.

Воинская электричка гуляла. Офицеры покуражились и, оглядываясь по-псиному, сворой ушли в головной вагон пить водку. Стали пить и студенты. Они пропивали себя с такой отчаянностью, как будто шли в действующую армию на двадцать пять лет, на Кавказ, под горские пули, а не на месяц ребячества во владимирские леса. Однако выяснилось, что водку взяли, взяли и колбасу, а вот воды не взяли, поэтому по очереди, по-солдатски, впивались зубами в волшебно прохладный помидор; в красное сердце русскости в этой непоправимо азиатской земле. Ожидали прохлады на станции.

Прохлады на станции не оказалось, а был вечерний подогретый кисель, в котором плавала пыль, разъедавшая глаза злобно моргающим звездам. От водки и татарщины Грише невыносимо, капризно хотелось пить, поэтому он и приехал в военные лагеря с раскрытым ртом.

Воду пили из цистерны, набирая полными фляжки, похожие на клопов. Минут на десять клопы становились холодными. Разваренные рыбные консервы с кашей, которые по очереди сами же подавали себе в столовой, чуть остыв, являли самое естество тухлости, поэтому их, потея, надо было есть горячими.

Тоскуя, сбегали; через сосновый лес ходили в солдатский буфет и хлебали там теплую сгущенку. Солдаты смотрели на студентов с пристрастием, как на перелетных птиц. Попив пустого чаю, солдаты спускались в библиотеку, листали тома, не глядя в книгу, и говорили с офицерской женой, заведующей книгохранилищем. Заведующая оживала, как вянущая смородина под дождем, и красная просвечивающая блузка ее наполнялась. Наманикюренные птичьи пальчики быстро перебирали формуляры; пальцы солдат тупо теребили ремни, и предметы, вбирая несвойственную им страсть, горячели и набухали. Сквозь открытую дверь студенты наблюдали это волхование, от которого у солдат под глазами проступали синие полукружья, а у заведующей Тибром билась вена на шее. Содаты обступали ее, как волчата, поскуливая, перебирая лапами, а она сидела в этом огненном кругу, хранимая звездочками на погонах своего мужа, и дни и ночи ее были темны от крови, застившей глаза. Волчата отвлекались; их били; заставляли бегать, стрелять и работать, и только в казарме под сырыми простынями они падали в бездну, тычась лицом в приглашающую подушку. Для заведующей же ад не кончался никогда, и глупый танковый подполковник пыжился гордостью за ее ночные ответы, которые, на самом-то деле, кричались вовсе не ему.

Танки, которые обгоняли студентов по дороге, нравились Грише своей пещерной округлостью. От танков несло жаром, и капли масла стекали с них, как пот.

В танковом городке таилась своя – неприятная, лязгающая зубами жизнь; в военном же лагере шли какие-то потешные игры.

Каждый день сметали сосновые иглы с генеральской линейки, песчаной триумфальной дороги, по которой должен был пройти какой-то генерал, который так и не приехал, да, собственно, и не собирался приезжать. Развешивали лозунги, пугая лес и калеча ржавыми гвоздями сосны. По вечерам стирали, а утром пришивали еще сыроватые белые подворотнички, и командиры отделений, бывалые солдаты, залезали за ворот пальцем и проверяли: свежий ли. Командиры следили и за прическами, и за длиной ногтей, и за чистотой рук, как будто студенты собирались на бал. В этом внимании командиров к гришиной внешности было что-то странное, закодированное, и, как ни удивительно, Гриша должен был стараться понравиться командирам, чего в его обычных отношениях с мужчинами никогда не было.

Гриша, скрепя сердце, стирал и стриг. Так делали все, поэтому однажды вечером Гриша очень удивился, застав Дрозда стригущим ногти своему неразлучному приятелю Малшевичу.

– Ты что, Дрозд? – изумился Гриша.

– Сделай так, чтоб я тебя долго искал, – отвечал хмурый угловатый блондинистый Дрозд. Малшевич же повернул к Грише свое иконописное лицо чернявого ангела, улыбнулся и сказал тихо:

– Я не могу сам стричь на правой.

Гриша пошел прочь, но не удержался и оглянулся. Дрозд, склонившись, с тщанием держал руку Малшевича, а Малшевич что-то ему быстро говорил. Потом они оба оглянулись на Гришу, Дрозд рассвирепел, а Малшевич, чуть улыбаясь, сделал знак рукой, который ясно означал:«Уходи: ему не нравится, что ты смотришь».

Отцы-командиры ходили орлами и пугали студентов.

– Вот вы в карауле, как елки стоите, – цедил сквозь зубы и сигарету маленький и юркий майор Подгородец. – А тут рядом две тюрьмы, мужская и женская. Сбежит урка между прочим, полезет к автоматам и зарежет, если по уставу не сработаете.

– Пусть лучше баба сбежит! – хохотнул Стременов, сплевывая.

– Я, Стременов, – строго говорил майор, – вам или куда? Вот в женской тюрьме, из которой вы бабу ожидаете, недавно один

солдатик зазевался, так его женщины обезоружили, мужской член ниточкой перевязали и изнасиловали.

– Зачем же перевязывать-то было? – не сдавался неутомимый Стременов.

– Вы, Стременов, как дите малое, – важно учил майор. – Если перевязать, так он кончать не будет, а у него стоит, и заключенные по очереди на член садились. Потом гангрена была, – подытожил майор.

– Отрезали?

– Не знаю, была ампутация или нет, но кончился мужик. А все оттого, что торчал, как елка.

– Надо попробовать, – говорил Стременов Грише, моя волосатую грудь под краном. – Так часика на два перевязать, – подмигивал он, – и пускай телки садятся.

Он стал растираться домашним полотенцем с петухами.

– Ты как больше любишь, – спросил он Гришу весело, – раком или так?

– Мне как-то раком не нравится, – виновато сказал Гриша.

– Это под каким углом поставить, – раздумчиво говорил Стременов. – Спину надо ей выгибать, вот что, – закончил он категорично.

– Как выгибать? – спросил Гриша, млея.

Стременов деловито изобразил и себя, и телку.

– Твоя-то к тебе приедет? – спросил он, одеваясь.

– Нечего ей сюда таскаться, – сказал Гриша, глядя на ржавые пятна в раковине.

– Тоже правильно. А моя приедет. Я, говорит, без твоего фаллоса не могу. А? Как? Наглая девка, а? Наглая, да?

– Так, может, фаллос такой, – подмигнул Гриша, словно ныряя в пропасть.

Стременов смешался, покраснел, а потом залился хохотом, похлопал Гришу по спине и пошел, насвистывая, прочь.

В палатке он спал рядом с Гришей и все говорил шепотом:«А вот еще был случай... Слушай, а что ты-то ничего не рассказываешь?»

С другой стороны лежал Дрозд, за ним – Малшевич, но ночью они никогда не говорили.

Как ни пекло азиатское солнце днем, а ночью Владимирщина вымораживала татар и заодно студентов. Под утро студенты сбивались на нарах в кучу, как кутята, и путались руками.

Но через час после зари начинало печь, и на зарядке все были мокрые от пота, и до позднего вечера, когда играли отбой, гимнастерка все липла к спине. Вечером сидели кружком в курилке под соснами. Стременов два вечера подряд вырезал из сучка весьма сходный пенис. Майор Подгородец пенис отобрал и наорал:

– В вас сидит дух купринской казармы! Стыдно, Стременов, пора свой такой иметь! Интеллигенты, а хуже рабочих!

Песни майор Подгородец тоже прекращал, хотя издалека слушал с удовольствием и даже старался запомнить. В строю пели «Этот день Победы».

В небо выплыл месяц, туманный от татарской дымки и рыжеватый, как блик в конском глазу. В лесах появился новый запах – тусклый, но продирающий ноздри. Офицеры сказали, что от засухи загорелся торф. Небо заволокло еще больше.

На третьей неделе повели в баню; далеко, за лес, на вялую речку. Баня была дырявый шатер с пятком малосильных душей с затрудненными струями. Воды накачали мало, поэтому в шатер загоняли сразу по взводу – тридцать человек. Мытья как такового не было, а были давка и шевеление, как в автобусе, и Гриша то попадал головой под теплую струю, то отирал плечами и локтями чужой пот, глядя на свой серьезный нахмуренный живот с едко-черными волосками.

После бани стало еще хуже, а купаться в речке офицеры не дали:

– Утонете, а нам гробы по мамкам развозить!

Обтирались водой из крана в уборной, но из ям так несло, что, казалось, запах этот разъедал кожу хуже пота.

Ничто от жары не помогало.

На второй день после бани Стременов подошел к Грише и, воровато озираясь, шепнул:

– Ты когда в карауле стоишь?

– В пятницу, – ответил Гриша, нахмурившись.

– Заметано. Я тогда скажу своей телке, чтоб приезжала.

Гриша не понял, почему день его караула был так важен Стременову, но спросил другое:

– А как ты ей позвонишь?

Стременов сплюнул.

– Как-как, на станцию смотаюсь. Небось, не поймают.

Он зевнул.

– А то сохнет телка. Твоей позвонить?

– Перебьется, – произнес Гриша спокойно.

– Правильно, – согласился Стременов и действительно на несколько часов исчез.

В пятницу командир особенно пристрастно осматривал Гришу, вертел туда-сюда, как манекен, одергивая гимнастерку и поправляя ремень.

Первая смена в карауле пришлась на полдень. Грише назначили стоять на обочине генеральской линейки, там где кончался лагерь. С другой стороны линейки мучился лес.

Гриша пропотел до сапог, но лихо отрапортовал начальнику военной кафедры, и командир отделения даже хотел отдать ему свой сахар за ужином, но так и не отдал.

После ужина Стременов поволок Гришу в лес, загадочно ухмыляясь. Гриша криво улыбался и послушно шел.

В некотором отдалении под кустами бузины на траве сидела сухощавая женщина лет двадцати пяти, и Гриша понял, что она-то и была телкой Стременова, которая приехала к нему из Москвы.

– Я как декабристка, – сказала она, раскладывая на траве припасы. – За этим дураком по лесам мотаюсь.

Она резала колбасу, ветчину, помидоры, намазывала красную икру на свежий хлеб, то и дело вытирала выпуклый лоб, говорила «Ну и жара», и в вырезе ее майки проступали мельчайшие частицы пота.

Стременов разлил водку.

– Не буду я ее, – сказал Гриша обиженно. – Теплая, и мне в карауле стоять.

– Пей, караульный! – захохотал Стременов.

– Правда, выпейте, – пригласила женщина, – что же, я все для него одного везла?

И Гриша ухарски выпил, а потом все показалось необыкновенно хорошо: копченая колбаса сухо смеялась в горле, ветчина соленым соком растеклась по языку, сыр щекотал небо, помидор убеждал, что есть на свете справедливость, и огурец ему поддакивал, а водка, как всегда, разлившись по телу, громко рассуждала о доблести, о подвигах, о славе. Гриша пригласил Стременова с Ниной к себе на дачу на шашлыки.

Провожая пьяненького Гришу в лагерь, Стременов сказал:

– Ты сегодня ночью с двух до пяти? Так вот, учти, я в это время к Нинке в лес пойду, и если шмон будет, ты мне свистни. Не люблю, когда на бабе накрывают.

– Ладно, – с трудом пробормотал Гриша, – только ты не увлекайся.

– Три палки, старик, – заверил Стременов, – три палки и в палатку.

– Постой, а как же она в лесу ночевать будет? – не сообразил Гриша.

– Так ведь декабристка! – развел руками Стременов, хохотнул и ушел обратно в лес.

До отбоя Гриша тупо просидел в курилке, отходя от водки, потом завалился спать и еле проснулся, когда командир, матерно ругаясь, светя фонариком прямо в лицо, разбудил его. Гриша наскоро оделся, получил автомат и стал в караул.

Фонарик еще какое-то время светляком ползал по палатке, а потом потух, и Гриша понял, что командир и сменщик легли спать. Через пять минут из палатки ловко выбрался Стременов; он надел только брюки и сапоги; его складная грудь белела матовым фонарем. Кошкой он прошагал мимо, кивнув Грише, на мгновение застыл перед генеральской линейкой, как курица перед меловой чертой, а потом в четыре широких шага пересек ее. Из леса напротив послышался тихий смех. Гриша хотел отвернуться и не смог. Нина выступила из леса. Стременов как-то по-детски прильнул к ней, совершенно отчаянно, не по-стременовски, уткнувшись лицом в плечо, а потом вдруг заработал всем телом, как жук, и вот Гриша видел только одну стременовскую спину с черным долом между лопаток и его качающиеся ноги.

Потом Стременов обнял Нину за шею, и уже даже месяц больше их не видел, а из леса слышался удаляющийся шорох. Скоро все стихло, будто Гриша выдумал все это, или месяц сыграл в какую-то ему одному ведомую игру.

Успокаиваясь, Гриша заходил взад-вперед, смутно различая в темноте следующий пост, где тоже пошагивал караульный. Гриша читал про себя стихи, чтобы быстрее пролетело время и, главное, чтобы не думать о движении матовых тел.

Неожиданно вдалеке заревели моторы; Гриша понял, что начались танковые учения, и представил себе, как, озаренные электрическим светом, из ангаров вырываются ощерившиеся танки и кто-то сидит на башне и смотрит вперед. Потом почему-то он подумал о ближней тюрьме и представил себе, что беглец пробирается в этот момент к оружейке, где такой же студент, как Гриша, беспечно стережет автоматы.

Гриша перехватил поудобнее «калашников», который висел у него на шее, и попросил Бога, чтобы из тюрьмы никто не сбежал, а если бы и сбежал, так чтоб не захотел украсть автомат у студентов. Потом ему показалось, что он помолился уже достаточно, и он снова стал читать стихи.

Дымка прилегла, месяц неожиданно сделался отчетлив, звезды вышили высь, и Грише сладко подумалось, что стихи, читаемые им про себя, отдаются в небе.

Но как только он взглядывал на лес, где скрылись Стременов с Ниной, вся сладость пропадала, и невыразимое беспокойство наваливалось на него. Казалось, что весь огромный лес, в котором сейчас происходило, как думалось Грише, самое важное дело на свете, потихоньку смеялся над ним.

Необъяснимым чутьем, которое появляется у человека с наступлением мрака, Гриша уловил пробуждение какой-то другой жизни рядом. В недоумении он глянул на соседний пост: студент осторожно курил в кулак. Тогда он понял, что жизнь зашевелилась где-то в другом месте, и перевел взгляд на палатку. И точно, полог шевельнулся, и месяц, совершенствуясь в мастерстве, нарисовал две фигуры. Гриша вглядывался в них, как в привидения, потому что темень, давая чутье, отнимала зрение,

и только когда фигуры, не оборачиваясь на него, пошли к генеральской линейке, он понял, что это Дрозд и Малшевич.

Малшевич шел осторожно, какой-то особенно хрупкий, в форме, только без ремня. Рядом шагал Дрозд, месяц рисовал эполеты на его голых плечах и обувал в млечный свет его босые ноги с мужицкими пятками.

Перед генеральской линейкой Малшевич остановился, как до него Стременов, кивнул на Гришу и на другого часового и стал что-то говорить Дрозду. Но Дрозд не захотел его слушать. Предатель-месяц прибавил света, и Гриша увидел, как Дрозд быстро взял Малшевича за правую руку, за ту самую, на которой он подстригал ему ногти, и перевел через лунный песок. Месяц трагически подчеркнул шахматную правильность головы Малшевича, но больше ничего уже не успел подчеркнуть, потому что Дрозд увел Малшевича в лес, безмолвно пританцовывая оттого, что попадал босыми ногами на сучки и шишки.

Кровь глухо забилась в ушах у Гриши; он стиснул чуждый автомат, зная, что неудержимо краснеет; колени его сделались какими-то ватными; стиснув зубы, он смотрел на лес, не думая даже о том, что Малшевич с Дроздом могут наткнуться на Стременова и что из этого всего может получиться.

В этот темный час, прорезанный месяцем, Гриша ни о ком, кроме себя, не думал, быстро ходил взад-вперед, глядя в бесстрастное звездное небо, и шепотом твердил:

– Господи, хоть с кем-то, хоть с кем-то, хоть с кем-то...

1994

NADINE

М.С.

Моей жене нравились те же мужчины, что и мне. Возможно, это был единственный случай, когда наши вкусы, хотя и бессмысленным образом, но все ж таки совпадали. Поэтому когда, пройдя сквозь всю тоскливую очередь в самое самолетное горло, раззявленное, как на приеме у лора, я наконец плюхнулся в кресло и обнаружил слева от себя южноазиатского принца, то немедленно вообразил, что сказала бы о нем моя жена. Моя жена сказала бы, что у принца, в отличие от большинства мужчин, фигура не тяжелая и не тощая, а «сухая». Лаконичная даже в плотских определениях, она бы больше не произнесла о понравившемся ей принце ни слова. От себя я бы добавил, что его глаза – расплескавшиеся, черные, мокрые – были совершенно лишены той обычной сладости, которая засахаривает мужчин Индостана. Скорее, глаза эти должны были принадлежать женщине из той же части света, потому что у женщин из Карачи или из Калькутты глаза горькие, как кофе.

Мальчику было не более двадцати лет, и пальцы его еще составляли ладонь, а не кулак. Я окрестил его принцем потому, что даже в напряженно-молодой посадке головы и детском сомнении, куда девать ноги, ощущалась не обычная подростковая неловкость, а мучения древней породы, и не нужно было обладать особой прозорливостью, чтобы понять, что мальчик этот из хорошей и даже очень хорошей семьи. Сделав эти простые наблюдения, я пристегнул ремни, откинулся и закрыл глаза.

Я летел к жене из Лондона в Нью-Йорк. За шестеро суток, проведенных в Соединенном Королевстве, я безбожно устал: мое положение полуэмигранта, проедающего до копейки все, что он зарабатывает, вынуждало быть слишком милым со всеми, слишком быстро сновать меж незнакомыми людьми на приемах, слишком долго засиживаться в баре с вельможами, которые могли быть полезны, и, наконец, на протяжении всего времени без умолку трепать языком. К полной телесной измотанности добавлялось неприятное, но твердое понимание того, что за шесть дней в Соединенном Королевстве никакой работы я не нашел и что, следовательно, и деньги, и силы, и время были потеряны совершенно зря.

Я даже задремал на взлете и проснулся, только почуяв неизбежно полагавшуюся даровую выпивку. Компания, самолетом которой я летел, была скверная, вот и вино отдавало вишней, лететь предстояло часов шесть, и настроение у меня было плохое. Мальчик оживленно болтал с темнокожей молодой женщиной; я мельком отметил, что она очень красива. Принесли анемичную рыбу с кисловатой цветной капустой, мягкий сыр, ломтик помидора на листе тепличного салата и умирающий хлеб.

– Простите, сэр, – повернулся ко мне мальчик с самым светским видом, – вы не находите, что обед не очень хорош?

– Да, это плохая компания, – коротко подтвердил я.

Мальчик сделал несколько убийственно метких кулинарных замечаний, брезгливо отодвинул поднос и сказал, что будет жаловаться. Закурив, он сообщил мне, что летит из Пакистана к своей девушке в Калифорнию. Мы кратко обсудили калифорнийский климат, и он снова поворотился к соседке. Они быстро говорили о чем-то; она звонко смеялась, он хмурил брови. Прислушавшись, я понял, что он рассказывает ей историю своей короткой жизни и суть крохотного романа, который нес его через два океана к упрямой и жестокосердной девушке. Счастливый мальчик не знал, что на рейсах дешевых компаний не принято пить много, и стал часто и строго вызывать мулата-стюарда. По непонятной мне причине стюард исправно носил вино

принцу и его веселой собеседнице; попросил вина и я. Спать не хотелось, книга, которую я читал, не имела к моей жизни никакого отношения, вино же, как ему и полагается, обещало легкий наркоз.

Мальчик быстро напился и разговаривал уже очень громко. Он говорил своей соседке, что влюбляется в нее. «Подари мне свой перстень, – смеялась та, – тогда поверю». Мальчик сдернул с пальца похожее на черепаху кольцо с множеством сапфиров и жестом раджи протянул новой любимой. Обнаружив свое плебейское происхождение, соседка замерла и неуверенно наживила кольцо на безымянный палец. Потом, усмехнувшись, стала примерять на другие, а потом снова захохотала, прикрыла рот ладошкой и швырнула перстень мальчику на колени. Мальчик чрезвычайно рассердился, насупился и с силой насадил перстень на палец. Женщина перегнулась через него ко мне:

– Откуда вы? О-о, русский! Одна моя русская подруга говорила, что мое имя значит «надежда». Меня зовут Nadine. Правильно?

– Правильно, – подтвердил я.

– Я пересяду к вам, – зашептала Nadine, – он меня раздражает.

Эта карусель нравилась мне все меньше и меньше. Я кивнул, и Nadine со смехом перетянула пакистанского принца на свое место, а сама прочно уселась рядом со мной.

– Спасибо, – сказала она и положила свою холеную ладонь на мой локоть. Она смотрела на меня пристально, как ребенок смотрит на старика, а потом спросила:

– Ты не гей?

Я раскрыл свою книгу.

– Я так и знала, – спокойно продолжила она, убрав руку и глядя на этот раз в пространство. – Ты поклоняешься любой красоте, которую находишь. Это нормально. Красота – не более чем отклонение. И люди по глупости боятся ее потрогать. Не надо бояться. Ты любишь философию? Все развитые люди должны любить философию. Она освобождает. Так говорит мой муж. Но я ему не верю. Он меня боготворит. Для него я сексуальный идол. Хотя если он решит, он может не спать со мной

три месяца. Будет лежать рядом совсем голый, и я буду видеть, что он при этом испытывает. Но если он решил, он не прикоснется ко мне целых три месяца. Я сбежала от него. Вот сейчас. Он всегда говорил, что убьет меня, если я его брошу. Он думает, что я в Брайтоне у подруги. Я не завидую ей, когда он все узнает. Как ты думаешь, он ее убьет? Может быть. И как мне сообщить ему, что я ушла? Позвонить? Не люблю письма. Но я боюсь даже его голоса. О, если бы ты его знал. Я не встречала более опасного человека. А я ведь родилась на Гаити. Тонтон-макуты и так далее. Потом я бежала во Францию. Он немец. Немцы все шизанутые. Проклятые нацисты. Черных они тоже не любили. Я хорошо представляю себе его в эсэсовской форме. С хлыстом и щипцами в руке. Он фашист. Он ничего не боится. Он лучший в Европе специалист по Кьеркегору. Пока мы жили в Оксфорде, он писал диссертацию о Кьеркегоре. И когда дописал последнюю страницу, сказал, что наконец все понял. «Что ты понял?» – спросила я. «Все можно и нужно», – ответил он. Немцев всех надо запереть в дурдом. Или расстрелять. А вы, русские, еще отдали им Восточную Германию. Эх вы. В Оксфорде у меня было много русских друзей. Он написал диссертацию и пошел работать в банк. Он очень умный. Он как робот. Очень холодный и рассудочный. Настоящий зверь. Конечно, он убьет меня. Мою подругу – точно. Как ты думаешь, стоит ей позвонить и предупредить? Я ей ничего не сказала. Он работает в банке. Готовит схему ограбления века. Говорит, что хочет быть сказочно богатым. Что деньги дают все. «Это Кьеркегор так сказал?» – спросила я. «Все так говорят», – сказал он. Он не остановится ни перед чем. Когда ты услышишь о грандиозном ограблении в Англии – это он. Когда он хотел испытать себя, то не прикасался ко мне неделями. А это очень трудно для любого мужчины, когда я рядом.

Она выглядела как негатив богини, и даже мелкие косички на темени, обнажавшие ее череп, – прическа как знак гордости темной расы, обычно выглядящая отвратительно, – только подчеркивали ее неукоснительное совершенство. Она была так ладна, словно рассчитана на машине ее мужем-роботом.

– Голубка, – зло закричал покинутый принц стюарду, – еще вина.

Стюард скис от смеха и сел на корточки.

– Я не из тех, я не из тех, – повторял он сквозь конвульсии сдерживаемого хохота.

– Голубка! – настаивал принц.

– Как вы думаете, ему еще можно? – спросил меня стюард, все еще сидя на корточках и вытирая глаза.

– Дайте, – вынес я свой полуэмигрантский вердикт. – Заодно и мне принесете.

Принц не утешился вином и стал хватать Nadine за коленки.

– Подожди, я сейчас успокою его, – сказала она мне с улыбкой богини смерти, – но ты будешь сидеть рядом со мной.

После быстрых рокировок на моем месте сидел принц, рядом с ним Nadine, потом я, а потом коротко стриженный американец, читавший книгу и делавший вид, что не обращает внимания на безобразия, творящиеся рядом.

Между тем принц лепетал, как в горячке, хватаясь то за бедро Nadine, то за свой пах:

– Я умею делать это очень хорошо, пойдем запремся в туалете, ты не пожалеешь, я женюсь на тебе, тебе будет очень хорошо, я уже не могу терпеть, я сейчас взорвусь...

– Лучше всех это делает мой муж, – смеялась Nadine, – он очень сильный и умный. А как ты это делаешь?

Мальчик впился ей в шею, покушаясь на грудь, и стал что-то шептать.

– Еще... Еще... – говорила Nadine. Лицо ее посерело и стало неподвижным. – Еще...

Так прошло несколько минут, и когда пакистанец уже только что не по локоть засунул руку под ее широкую кобальтовую юбку, Nadine вдруг ударила его по губам (но почему-то не по руке), повернулась ко мне и сказала резко:

– Он хочет меня изнасиловать. Защити.

– В самолете еще никто никого не изнасиловал.

– Идиот! Он убьет меня, если я не пойду с ним трахаться в туалет!

– Чем он тебя убьет?

Nadine зашипела и крикнула стриженому рядом со мной:

– Эй, парень, меня тут насилует пакистанская свинья, а русский ублюдок не хочет вмешаться! Ты же служишь на военной базе, правильно? Значит, ты должен быть настоящим мужчиной!

Военный опасливо повел глазом в ее сторону и снова углубился в чтение. Раскрыл книгу и я.

– Ну сделай же что-нибудь, – простонала Nadine, баюкая руку принца на своих чреслах, – я погибаю! Он зверь!

– Знаешь что, милая, – прошипел я, разозлившись и на нее, и на себя, и на пакистанца, и на стюарда, и вообще на всю свою нелепую жизнь, – уж если я и видел когда-нибудь, как совращают малолетних, так это сегодня.

Nadine плеснула мне вином в книгу.

– Извини, ублюдок, – сказала она.

– Гадина, сука, пизда, – завопил я, сотрясаясь от злости, – я тебя сейчас так ебну! Стюард! Стюард! Вы что, не видите, что здесь дебош?!

Стюард, зная американское обыкновение стучать на кого только можно, изменился в лице и стал что-то быстро говорить Nadine на языке, которого я не знал.

– Предатель! – бросила она ему. – Я черная, ты черный, а ты продаешь меня!

Пакистанец уже плохо понимал, что происходит. Опорожнив стаканчик с вином, он встал на ноги и закричал:

– Я сын министра! Это сраная компания! Вина! Вина всем!

Стюард, чрезвычайно обрадованный, что главным участником беспорядков оказался безбородый юнец, сделал морду топором и сказал:

– Сэр, вы учиняете бесчинство. Немедленно займите свое место.

– Я плевал на всех! – кричал принц. – Я сын министра! Вина!

– Сэр, вы ведете себя безобразно. Вы можете быть арестованы в аэропорту.

– Ах, так вот она какова, ваша гадская Америка! – вопил юнец. – Страна свободы! Вы не можете меня арестовать, мой отец министр правительства Пакистана!

Nadine силой усадила его и стала что-то шептать на ухо. Принц порывался вырваться и бормотал угрозы.

Пришел второй пилот и очень формально и отчетливо произнес:

– Сэр, вы можете быть арестованы в аэропорту.

– Нассать мне на вашу демократическую Америку! – огрызнулся принц.

– Это очень серьезная ситуация, – угрожающе молвил второй пилот. – Я дам знать полиции в Ла Гвардию.

– Он больше не будет, – быстро заговорила Nadine, прикрывая принца плечом, – он больше не будет, честное слово, я успокою его, обещаю!

Пилот с недоверием посмотрел на нее, но видя, как она на его глазах с мастерством заправской ведьмы усыпляет принца, покачал головой и отошел.

– Как ты меня оскорбил, – сказала мне Nadine, поворачиваясь в мою сторону, но все еще баюкая принца, – как ты меня оскорбил. У тебя было такое лицо, я прямо вся дрожу. Ты мог убить меня. Даже мой муж никогда не говорил мне таких слов. Никто никогда не смел говорить мне таких слов.

Я молча промокал погубленную страницу салфеткой. Книга неожиданно сделалась очень дорога мне, я вспомнил, что купил ее у букинистов и что это было хоть и дешевое, но старое и редкое издание.

Через полчаса мы сели в Ла Гвардии. Не глядя на Nadine, я собрал свои вещи и вышел в проход. Она серьезно говорила пакистанцу:

– Америка – очень строгая страна. Ты будешь хорошим мальчиком? Ты больше не будешь буянить? Правда?

Как я ни старался избежать прежнего соседства, но в очереди на паспортный контроль снова оказался рядом с Nadine и мерзким мальчишкой. Он протрезвел и глядел в пространство сурово и темно. Он был изысканно вежлив с пограничником.

Багаж подавали медленно. За окном моросило. Все молчали, и когда смолкал рев транспортера, становилось совсем тихо.

Выходя из зала со своей тощей сумкой, я поймал взгляд Nadine. Она подняла ладонь и слегка повела ею влево-вправо, и на ее лице обозначилась какая-то обожженная улыбка.

– Тебе куда дальше? – спросил я, плохо понимая, что делаю.

– В Цинцинатти, – ответила она бесстрастно (улыбка сразу погасла). – Мой рейс через два часа. Помоги мне, пожалуйста, донести чемодан до какого-нибудь бара.

Ее рейс задержался на пять часов из-за тумана и, проговорив с ней семь часов кряду и так и не позвонив жене из аэропорта, я полетел с ней.

Когда я платил кредиткой за билет, только сребролюбие говорило мне, что я совершаю безумие, но денег у меня все равно оставалось мало, я и без того был нищ.

В Цинцинатти мы поехали на квартиру ее друга. Это был молчаливый полубезумный поляк. В грязном туалете над бачком у него висел нательный крест, а стены квартиры были исчерчены красными звездами. Мы приехали очень поздно. Он только спросил Nadine, окончательно ли она ушла от мужа, что слышно от Стивена и, почему-то, все ли еще популярен в Англии Чайковский.

Он кинул на пол какие-то тряпки, сам улегся рядом на сальный топчан. Всю ночь он слушал, что мы говорили и делали, а наутро спросил меня, как Чайковский выбрался из ГУЛАГа, и порекомендовал всегда ставить кассету с Шестой симфонией, потому что это единственная музыка, которая гасит подслушивающие устройства КГБ.

Через пару дней мы переехали к какой-то подруге детства, у которой было пятеро малых детей. По ночам подруга и Nadine плакали на кухне. Отсюда Nadine позвонила моей жене, считавшей меня ограбленным и убитым по дороге из аэропорта, и сказала в трубку, крутя одну из своих косичек:

– Ты дура. Ты потеряла мужа. Да, навсегда. Да. Да. Да.

Потом выяснилось, что у Nadine были деньги. Мы метнулись в Чикаго, но Nadine нуждалась в солнце, и мы полетели во

Флориду, а оттуда, сняв машину, помчались в Южную Каролину. Там мы наконец осели. Nadine устроила так, что я писал высокопарные глупости в поддержку изгнанного президента Гаити Аристида, и чем пышнее и безвкуснее были фразы, тем больше ей нравилось. Все было как впотьмах, дома не было, любовной связи не было, а был только беспросветный сладковатый чад.

Инстинктивно защищая свое прошлое от абсолютного разрушения, я покопался в сумке и выложил на стол каштан, который подобрал в королевском парке под Лондоном.

– Глупый, – сказала Nadine. – Он похож на головку пениса.

Потом, помолчав, прибавила:

– Ты одержим мужским сексом. Надо было оставить тебя рядом с тем дитя из Пакистана.

Она все чаще останавливала на мне свой взгляд с какой-то металлической неподвижностью, и я боялся в эти моменты заговаривать с ней.

Однажды (не прошло и пяти месяцев нашего житья вдвоем) я подслушал, как она говорила подруге по телефону:

– Он страшный человек. Он маньяк. Клянусь тебе, он убьет меня. Все русские шизанутые. Их нужно держать в лагерях. Или расстреливать. Может быть, мне позвонить в полицию?

Прошло еще две недели, и утром Nadine сказала будничным голосом, листая какой-то журнал за кофе:

– Знаешь, я наверно съезжу на пару дней к подруге в Чарльстон.

– Поезжай, – ответил я спокойно. Nadine бросила на меня испытующий взгляд.

Пока она собиралась, я стоял у окна в кухне и смотрел на кроваво-кирпичную стену дома напротив. Все окна были плотно занавешены, только в одном было видно, как стареющий китаец чистит шторы.

– Ну все, привет, – сказала Nadine, заглядывая в так и не обжитую кухню.

– Собралась? Езжай! – бросил я ей настолько злобно, насколько вообще только мог.

– Что?

– Проваливай!

Nadine уставилась на меня, как на заговоривший труп.

– Ты не будешь скучать по мне?

– Давай сумку, – выпалил я. – Такси уже ждет.

– Я не поеду!

Буквально силой, за руку, я выволок ее на улицу. Nadine прижималась ко мне и бормотала:«Я не поеду! Я хочу быть с тобой!» Таксист уже высунулся из машины и спрашивал:«Эй, мистер, у вас все в порядке?»

Я смотрел на Nadine с какой-то завороженностью, как на стрелу, уносящуюся по прямому шоссе, как на тонущую шлюпку, как на догорающий огонь, как на бесповоротно умирающую тварь, и знал, что могу, но не хочу отменить эту бесповоротность прощания. Собравшись с духом, я сказал тихо:

– Возвращайся скорее. Если ты оставишь меня, я сделаю что-то ужасное.

Nadine с облегчением вздохнула, клюнула меня в губы и с удовлетворением забралась в такси, водитель которого тоже уже успокоился и знал, что все действительно идет, как надо.

1994

ШЕРЕМЕТЬЕВО-2

Когда здание аэропорта, похожее на раскрытую конфетную коробку, заребрилось за перелеском, Феликс сказал:

– С ветерком, Гусь, с ветерком.

Гусь послушно прибавил газу, а Марина зевнула:

– Ох, Феликс, на мильтона наскочишь.

– Все куплено, – хмуро сказал Феликс и тут же пожалел, что вообще ответил.

Достав из сумочки зеркальце и поправляя пышную прическу, Марина искоса взглянула на Гуся, Феликс посмотрел тоже и увидел крутой чернявый затылок и загорелую шею гимнаста над кожаной курткой. Феликс видел также пальцы Гуся на руле с их фортепианно точными окончаниями и овальными розоватовыми ногтями. В зеркальце был виден карий гусиный глаз в изрядной опушке ресниц. Феликс посмотрел на свои несвежие руки с заплывшими суставами, с ногтями размером всего с копейку и причем такого вида, словно копейка была неровно разрезана пополам; покосился на открытый ворот рубашки, в котором виднелась матерая красноватая кожа с мелкими чуть седеющими волосками.

Марина осторожно красилась. Сопнув, он положил руку ей на круглую коленку и отвел платье вверх.

– И зачем это? – сказала Марина. – Все равно негде.

И засмеялась. Шея Гуся порозовела, он как-то клюнул носом, словно подбирая крошку.

Феликс убрал руку, Марина одернула и огладила платье.

Машина чмокнула воздух у бордюра и мягко остановилась.

– Молодец, Гусь, – сказала Марина. – «Жигули», а как водишь.

– Тут только вид, что «Жигули», – серьезно ответил Гусь. – Феликс Иваныч в них столько бабок вложил. Они уже как «Мерседес» стоят.

– Поговори мне... – сказал Феликс, выбираясь из машины. – Меньше трепись, Гусь. Когда нужно, я сам скажу. Меня хвалить не надо.

Не оглядываясь, он пошел в здание аэропорта, чувствуя, что Марина с Гусем идут за ним, и зная, что Марина подобралась, как балерина перед поднимающимся занавесом. Он сделал круг по залу, отдаваясь злой тоске, которая всегда посещала его при виде чужой предотъездной жизни. Он знал, что и завтра, и послезавтра, когда будет занят важными и достаточно опасными делами, сможет воспроизвести в памяти эту картину: советских командировочных в нестойких помятых костюмах, с опаской поглядывающих на табло и то и дело проверяющих свои часы; табунки советских туристов, многие из которых тоже были в костюмах и о чем-то шептались, не сводя глаз со старшего группы и тайком от него показывая друг другу икру и шампанское, которые они намерены были сбывать в заграничных гостиницах; подвыпившую компанию полярников, которые летели в антарктическую ночь и теперь, никого не боясь, хохотали, обнимались, курили и бросали вызывающе отсутствующие взоры на всех; наконец, иностранцев, ошалевших кто в Москве, кто в Самарканде, отчаянно берегущих карманы и придерживающих ногой аппетитные чемоданы. На иностранцев Феликс смотрел особенно долго, вбирая в себя отчетливость их черт, их предвкушение того, что вот уже скоро можно будет говорить, как необыкновенна была поездка в Советский Союз, осталось только добраться до приветливого люка своего прочного самолета с каким-нибудь ярким фениксом на хвосте. Он смотрел долго, нахмурив брови, как мальчик, разглядывающий крокодила, а потом повернулся и пошел к лифту.

В лифте Марина сказала, ни к кому, собственно, не обращаясь:

– Ох, как я устала сюда ездить. И почему в «Прагу» или в «Славянский базар» не сходить?

– Сходи, – сказал Феликс таким голосом, что Марина испугалась.

– Да кормят-то здесь как? – быстро заговорила она. – Ты же первый со своей язвой загнешься!

Лифт остановился, и Феликс вышел, оттолкнув Марину плечом.

Марина продолжала возмущаться за столиком, отчитывая официантку Нину, длинную, как селедка, и пахнущую тоже чем-то ржавым.

– Международный аэропорт называется! – говорила быстро Марина. – В котлетах по-киевски машинное масло! Единственный в Москве! В солянке сосиски тухлые! Шереметьево-2! На сладкое всегда трубочка!

– С чего начнете, Феликс Иваныч? – с мертвенной сладостью спросила Нина, не обращая внимания на Марину, как селедка в банке не обращает внимания на других селедок.

– Сама знаешь, – веско сказал он.

Марина взяла его за локоть.

– А чьи это самолетики? – спросила она весело.

– Я тебе уже объяснял, – отмахнулся Феликс.

– Я пьяная была.

И Феликс с напускной неохотой объяснил ей, что дутая белая сарделька с красным крестом – это швейцарский, тот, где красно-синяя фигня. – американский, а вон подруливает «Алиталия».

– Как ты все их помнишь? – притворно восхитилась Марина. – А это чей? Наш?

– Ваш! – отвечал Феликс с неожиданной яростью.

Марина залепетала:

– Ну, советский...

– Вот именно, ваш, советский! – буркнул Феликс, маханул рюмку водки и уставился в салат.

– Феликс! – заверещал вдруг кто-то. – Да пустите же, девушки, пустите, я к Феликсу!

Он неохотно поднял глаза и усмехнулся.

В дверях бился Алекс, вечно молодой, как вечнозеленый, тощий, с волосами, торчащими откуда только можно – из ноздрей, из ворота, из манжет, веселый, с раззявленным ртом и прыгающими глазками.

– Это ко мне! – сказал Феликс строго. Алекс уже тащил два стула, махал кому-то в двери и звал официантку.

– Ты не бойся, – тараторил он, – мы за государственные, мы делегацию встречаем, нам денег дали! – и он залился тонким смехом.

К столику неловко подсел аспирант, которого Алекс тут же всем представил и о котором тут же забыл. Аспирант краснел, независимо теребил вилку и спрашивал у Нины водки.

– Не надо водки! – неожиданно сказал Феликс. – Гусь, сходи в машину.

– Все нести? – недоверчиво спросил Гусь.

– Всего не надо, а виски давай, – усмехнулся Феликс.

– Слушай, как замечательно, что я тебя встретил, – трещал Алекс, – а то у меня машина стала, ни взад, ни вперед, я тебе притараню ее, а? А?

– Во вторник позвони, ребята сделают, – солидно сказал Феликс. – Да не считай ты свои государственные деньги, – поморщился он. – С этим рестораном у меня особый расчет.

– Но кормят здесь ужасно, – пропела Марина. Алекс ей не понравился, аспирант же краснел необыкновенно приятно, правда, Гусь краснел тоже и был свежей.

– Ну, где ты был? Куда пропал? – жадно спросил Феликс, уже зная проклятый ответ, но идя на него, как самоубийца на нож.

– В Китай летал! – хрюкнул Алекс.

– В Китай? – спросил Феликс недоверчиво. – Там, поди, как у большевиков?

– Ты что! – замахал руками Алекс, успевая при этом подхватывать вилкой то огурчик, то ветчинку. – Это такая страна! Кантон-Гандон, ой, простите, – нагло сказал он (Марина хихикнула), – вообще такой город! После Барселоны второй город в мире, я тебе говорю! Дома, понимаешь, колониальной постройки, балкончики, колонночки, мосты, все цветет, река воняет, а на улицах китайцы котят продают – жарить и есть!

– Ужас какой! – сморщилась Марина.

Гусь принес виски.

– Да, котят и змей, змей, – кричал Алекс. – Я змею ел – на цыпленка похожа, а кота не смог – чуть не сблевал. А какие там отели! Ну – после Барселоны второй город! Есть там на острове один, «Белый лебедь», так там дерево из нефрита, и листья из нефрита, и персики, вот – с мою голову! И он почему-то наклонил немытую лысеющую голову.

– Зеленое дерево? – спросил Феликс тоскливо.

– Зеленое! Как бы не так, персики – розовые, розовый нефрит, за это дерево весь этот сраный аэропорт купить можно!

– Действительно. Уж лучше котят есть, чем эту солянку, – сказала Марина.

– А как Барселона? – спросил Феликс.

– Барселона! – захохотал Алекс с набитым ртом, так, что у него выходило «Шаршелона». – Испания!

– Слушай, – сказала Марина с видом человека, который хочет сделать другому приятное, – Феликс, мы каждую неделю ездим в это Шереметьево, где ты знаешь каждый самолет, а ты никогда никуда не летаешь. С твоими деньгами, – добавила она, как ей показалось, деликатно, – ты бы мог все посмотреть.

Феликс смотрел в пол.

– И меня бы куда-нибудь вывез, а то побрякушки надеть некуда! – и она кокетливо засмеялась.

Феликс выпрямился и положил кулаки на стол.

– Кончай пить, Гусь, – сказал он добродушно.

Гусь вытер тонкие губы салфеткой.

– Поехали? – спросил он, берясь за спинку стула.

– Вы поедете, а я тут посижу, – сказал Феликс, переводя взгляд с Гуся на Марину. – Кончай пить, Гусь, – повторил он ласково. – Стоять не будет.

Гусь поперхнулся минералкой. Марина стремительно побледнела, будто у нее внутри какая-то помпа откачала всю кровь. Алекс втянул в себя руку с вилкой, как черепаха втягивается в панцирь. Аспирант стал рассматривать тарелку, словно только что увидел ее и хотел знать, чистая ли она.

– Нина! – крикнул Феликс.

– Ой, Фи-иля..., – расплылась Марина по-бабьи, ужаснувшись всем перекосившимся ртом и поднося руку к сухим, ненавидящим глазам.

– Проводи их сама знаешь, куда, – сказал Феликс официантке.

Та, со спокойной преданностью глядя на него, ждала разъяснений.

– Я не иду, – объяснил ей Феликс, а потом весело махнул рукой:

– Эх, была не была, отведу молодых в спальню.

Поднимаясь, он сказал Марине:

– Ты, курва, громче венчальную пой, а то если Гусю не понравишься, инвалидам отдам.

По дороге он задел аспиранта, вспомнил о нем и спросил так же весело:

– А ты не хочешь?

Но ответа ждать не стал. Марина шла за ним, кусая губы. Гусь, растопырив стальные ноги, шел за ней след в след.

Алекс снова начал жадно нахватывать что ни попадя с тарелок.

– Я думал, это его жена, – сказал аспирант, потея от мысли, что и он мог бы через мгновение барахтаться в какой-то каморке на скатертях. – А что этот – его сын.

– Сейчас сын мамочку отхарит, – пробормотал Алекс, быстро жуя. – Только пистолет сначала снимет.

– Слушай, а чего он в самом деле за границу не поедет?

– Ты с ним осторожней насчет этого. Он мужик хороший, но крутой. Как он поедет? С совками в одной корзине? Посмотрите налево, посмотрите направо? Я ему три круиза предлагал.

– Ты же ездишь.

Алекс мельком посмотрел на аспиранта:

– Ты что, совсем глупый? Ты знаешь, сколько у него денег?

Из коридора донесся громкий голос Феликса:

– Гусь, ты после дела вниз ее сведи и в такси не пускай. Пусть на автобусе в город едет.

Он вернулся к столу. Алекс жевал и двигал ушами, как кролик. Аспиранту хотелось выпить виски, но он боялся.

– Ты пей, сынок, пей, – сказал ему Феликс, пододвигая бутылку. – Тем, кто мозгами работает, пить полезно. По себе знаю.

Он потарабанил пальцами по столу и посмотрел на летное поле. Швейцарский самолет недоверчиво рулил по советскому асфальту. Перед ним шел какой-то оборванец и махал флажком.

– Ну ладно, – произнес Феликс, отрываясь от окна. – Ладно, – повторил он с неопределенной угрозой. Отхлебнул из стакана с золотистой шотландской горечью, повертел вилку, потом повернулся к Алексу – тот тотчас перестал двигать ушами, как умная собака оставляет палку, услышав свист хозяина, – и сказал:

– Так давай про Барселону.

Через три года Горбачев открыл границы, и он сразу полетел на Канарские острова.

А еще через два года его убили в Ницце.

1994

ФЕРМА С КАРАСЯМИ

Слух о том, что Вадим Беляев исчез, второпях пересказал мне Колька. Колька скакал куда-то рано утром по Арбату с пожилой любовницей, кося глазом в переулки направо, где неподалеку в богатом доме покойно спала молодая жена, и сообщил мне слух, вернее всего, чтобы вообще что-нибудь сказать на бегу.

– Может быть, его грохнули? – спросил я.

– Возможно, – сказал Колька. – Ты случайно не знаешь, в котором часу открываются бары?

– Нескоро, – сказал я с некоторым злорадством.

Злорадство мое Кольке не понравилось, он неприязненно отсалютовал мне и поскакал дальше. Его приятельница, весьма довольная встречей, от которой могли пойти приятные круги по воде, лукаво произнесла «оревуар».

Приятных кругов по воде я пускать не собирался: мы все уже были в том возрасте, когда надо покрывать друзей, чтобы они в свой черед в случае чего пощадили тебя. Вадима Беляева я давно не видел, не очень им интересовался и думал о новости не более трех минут, а если вообще и думал, то только отттого, что в моих глазах он был личностью неприятной и даже одиозной.

По моим расчетам Вадим Беляев должен был скоро брать сороковой рубеж, находясь при этом в нелепом амплуа вечного мальчика. Во всей его внешности сквозило нечто невытравимо комсомольское, и его губы были так же предназначены для того, чтобы произносить слова «родина-партия-революция», как иные губы для минета. Волосы он стриг каким-то стародевичьим

шлемом, очки носил затемненные и в очень тонкой оправе, руки имел вялые, глаза – несколько панические, овал, да и все выражение морденки напоминали скисшую дыню, и почему-то, когда вы видели его по телевизору, казалось, что от него пахнет тухлым дезодорантом. Точно так же всегда казалось, что с женой он чрезвычайно нудно, часто и тихо ругается, при этом сохраняя то же паническое выражение глаз, потому что старается вспомнить, использовал ли он в своих логических построениях только дедукцию или индукцию тоже.

Звезда его взошла неожиданно и стремительно: вот, только вчера он был еще молодой журналист, а сегодня его евнуховидное лицо освещено софитами, он тщательно выговаривает что-то репортерам, и в Кремле, как говорят, его многие любят. Было совершенно непонятно, как такой положительный и пугливый человек мог вляпаться в какую-нибудь историю.

Я предположил, что Беляева убрали свои; может быть, прослышав о каком-то воровстве в Кремле, он так перепугался, что уж испугались и его.

Вскоре новость о его исчезновении подтвердила моя любимая бульварная газета, правда, подав это в каком-то странно сдержанном тоне, ни одной версии не выдвинув. Больше ничего о его исчезновении я не слышал, публика к Беляеву еще не привыкла, мальчиков «подай-принеси» в Кремле было немало, и никакого скандала не возникло. О Беляеве забыли. Забыл о нем и я.

Прошло месяцев десять, и однажды декабрьским утром, мерзлым, как треска, мне позвонил Колобаев.

Шмыгнув носом, едва поздоровавшись, он выпалил:

– Ты, говорят, собираешься в Англию?

Колобаев был человек бесцеремонный, легкий и бесценный. Раньше он работал не то в разведке, не то в контрразведке, а теперь имел кабинет в Кремле. Встречали его и в компаниях нуворишей. Все говорили, что он беспрестанно и успешно *посредничает*, зарабатывает несчитаные деньги и, если не сломает себе шею, то под конец жизни станет явно и несметно богат, купит веселый квартал в Барселоне и тогда, может быть, пове-

дает нам историю своей удивительной жизни. Мы с ним оказывали друг другу кое-какие мелкие услуги, и я понял, что сейчас мой черед.

– Надо поговорить, – сказал Колобаев. – В десять у Дворца молодежи. А? А?

Я был уверен, что Колобаев хочет всучить мне передачу в Лондон, что это не бриллианты и не атомная бомба, а, скорее всего, хотя и опасные, но все же бумаги, следовательно, везти можно.

Когда я приехал, Колобаев уже высовывался, как чертик, из окна сиреневого «Вольво», говорил с кем-то по сотовому телефону и махал мне лапкой.

– Покатаемся, – заявил он и пустил машину вскачь по Комсомольскому проспекту. – Ты помнишь Вадика Беляева?

Я моментально вспомнил колобаевские погоны и связи, сопряг их с кремлевским прошлым Беляева и сказал:

– Э-э, нет, Колобаев. Стоп-сигнал. Предателями Родины я не занимаюсь. Тормози и высаживай. – И я решительно взялся за ручку двери.

– Да не шуми ты, – произнес Колобаев как-то грустно. – Он никогда не прятался, и с ним уже давно переговорили. Он разводит карпов в Уэльсе.

Мне показалось, что я ослышался.

– Карпов, – подтвердил Колобаев, сжав губы и рассеянно глядя на дорогу. – Вот и я говорю:«Как»? Съезди к нему, а? А? Мне просто интересно.

– Подожди, а жена? У него же была жена?

– Была, да сплыла. Записку прочитала – и в ЗАГС, разводиться.

– Какую еще записку?

Оказывается, исчезая, Вадим Беляев исполнительно оставил по себе заявление руководству и записку жене. Достаточно сухо он писал и там и там, что переезжает в Англию, где его можно найти по такому-то адресу, что намерен жить как «частное лицо» на деньги, вырученные от продажи родительской квартиры, сведений не разглашать, интервью не давать, просит извинить за причиняемые неудобства, возвращаться же не собирается. Заявление об уходе кончалось вполне по-беляевски:«Прошу, удо-

стоверившись в правдивости моей информации через нормативные каналы, поверить мне, что все это лишь мое частное дело».

В Кремле всполошились и отрядили людей по указанному Беляевым адресу – без особой надежды, впрочем, опасаясь, что он уже давно строчит на какой-нибудь конспиративной квартире разоблачительный мемуар. К великому удивлению контрразведчиков, по указанному адресу Беляев оказался в наличии, легко дал подписку о неразглашении, разговаривать по душам наотрез отказался, на угрозы реагировал вяло и все уныло твердил, что «никого не трогает». Но что совершенно ошеломило русских агентов, так это то, что Беляев купил маленькую ферму и теперь почти в полном одиночестве разводил карпов.

Завязалась трогательная переписка между Москвой и русской резидентурой в Лондоне. Москва не верила. Резидентура препиралась. Пара русских агентов припеваючи прохлаждалась в Уэльсе неподалеку от беляевской фермы и выставляла казне дутые счета. По словам Колобаева, один начальник с Лубянки, ознакомленный с финансовыми потерями, в сердцах сказал, что убить Беляева было бы дешевле.

Однако убивать Беляева было решительно незачем. Обожравшиеся и, более того, обпившиеся агенты в Уэльсе проверили финансовые дела Беляева: выходило, что он привез в Англию ровнешенько ту сумму, которую выручил в Москве за продажу родового гнезда. Абсолютно никакого присутствия западных спецслужб в деле обнаружено не было, и все, за что Беляева можно было притянуть – это за незаконный вывоз из России ста тысяч долларов. Деньги для Кремля были небольшие, продавал Беляев свое, в воровстве никогда не участвовал, больших секретов не знал. Можно было на все это дело плюнуть. Кому-то пришла в голову светлая идея, чтобы он письменно признался в застарелой душевной болезни, что Беляев со вздохом и исполнил, заверив за свой счет подпись у местного нотариуса. Признание в сумасшествии, запертое в какой-то сейф в Москве, всех удовлетворило; постепенно люди стали говорить, что Беляев и вправду болен; на этой успокоительной мысли его и оставили в покое.

Колобаев же был любопытен, как помоечный кот. Как кот готов изваляться черт знает в чем, чтобы добраться до соблазнительно выглядящей штучки, так и Колобаев добивался, что же на самом деле произошло с Вадиком Беляевым.

– Помнишь его, помнишь, да? Рыба, минтай – да, минтай! Я таких знаю – в них черти водятся! Баба там у него, понимаешь, баба, любовь до гроба – дураки оба. Съезди, а? А?

Самому ехать в Уэльс ему было решительно не с руки: в Москве могли об этом пронюхать и по дури всполошиться, вообразив заговор или таки шпионский след.

Колобаев предложил мне денег на расходы. От денег я отказался, но своего не потерял, потому что получил машину с шофером на три дня, остававшихся у меня в Москве, в течение которых должен был завершить кучу дел.

Неделю я провел в Лондоне по той самой надобности, за которой, собственно, и ехал в Англию. Развязавшись с делами, я наконец рухнул на кровать и расслабленно позвонил по номеру в Уэльсе, который дал мне Колобаев.

Попал я на пьяного валлийца, который долго шутил, накручивая мне телефонный счет, так что я под конец озлился и даже пожалел, что не взял колобаевских денег, но, натешившись по поводу русских, сообщил, что ферму Беляев продал, что теперь он держит *бар* и вот по какому адресу его можно найти. Нового телефона Беляева он не знал.

По злобе я стал подозревать розыгрыш и даже репетировать, что скажу проклятому Колобаеву в Москве и какую неслыханную услугу с него потребую. В Уэльс, однако, ехать было надо, чтобы в любом случае довести дело до конца.

Адрес, который я приобрел, помещал Вадима Беляева в город, название которого я могу с трудом произнести примерно как Кхленкхотлин, в Северном Уэльсе.

Со всеми пересадками дорога заняла у меня почти день, в непроизносимый город приехал я вечером, остановился в семейной гостинице, мрачно поужинал и лег спать. Наутро, все еще подозревая худшее, я отправился по имеющемуся адресу.

Пьяный валлиец хоть в чем-то не соврал – бар действительно существовал; жалюзи, правда, опущены; на дверях название – «Пиковая дама», что наводило на мысль о правдоподобности некоего русского следа.

Было еще рано, и я побрел гулять.

Городок молча жался к берегам кипящей реки Ди. Река была очень мелкая, седая, вся в перекатах. Старик под ивами подтвердил, что в ней полно форели. Улицы были приятно узкие, дома умеренно старые. По переулкам, примыкавшим к реке, гулял рождественский обед – утки. Было сумрачно, но тепло, и цветочники выставили на улицу свои гиацинты и фиалки.

Кхленкхотлин лежал в долине меж высоких холмов. Долина мягко светилась зеленым, как будто покойные маги-друиды до сих пор подсвечивали кельтскую землю из своего подземного царства, высоко держа лампы в бессмертно вытянутых руках. На холмах зелень была более грубого, простонародного, цвета; видимо, под холмами друиды не селились. По зеленому медленно передвигались белые точки – овцы. Там и сям по холмам ржавели неровные пятна – заросли папоротника, впрочем, растения тоже магического. На самом остроглавом холме чернели развалины – как мне объяснили, Вороний замок норманнов. Еще мне сказали, что где-то там же была скамья, с которой великий валлийский поэт, имя которого я тут же забыл, обозревал окрестности, слагая свои баллады. Я полез вверх.

Ни до скамьи, ни до замка я не добрался, но поднялся достаточно высоко, запыхался и сел на мшистый валун. В тот час весь Уэльс определенно волховал: не то в воздухе, не то на земле шалой рыбой гуляли зеленые, розовые и жемчужные тени. Глядя вниз на дышащую долину, можно было подумать, что подземное царство мертвых не так-то уж и плохо, если из него поднимается все это.

Я вернулся в город ближе к вечеру, принял горячий душ, переоделся и пошел в «Пиковую даму».

В окне мерцал оранжевый свет. Бар был открыт. Пожав плечами, я толкнул дверь.

Первое, что я увидел, это Вадим Беляев, протирающий тряпкой темную деревянную стойку. Я так оторопел, что застыл на месте и, возможно, даже разинул рот.

Беляев поднял глаза на звук колокольчика, привязанного к двери, и улыбнулся мне, немного сощурившись: очки он снял и теперь пытался рассмотреть, кто же пришел.

– Приветствую. Как там на улице – холодно? – сказал он по-английски.

– Нет, тепло, – машинально отвечал я на том же чужом языке, все еще столбенея.

– Могу я вам что-нибудь предложить? – любезно спросил Вадим Беляев.

– Водка-тоник, – справился я с собой и направился к стойке.

Беляев суетливо и старательно готовил коктейль.

– Беляев, – сказал я по-русски, как бы констатируя факт.

Он вздрогнул и поднял глаза. Рука его замерла. «Почти как в шпионском фильме», – пронеслось у меня в голове.

Он смотрел на меня, паникуя, не узнавая, а потом узнавая.

– Колядин, – произнес он тихо наконец, тоже как бы в открытую признавая, и вернулся к коктейлю.

Он поставил запотевший стакан передо мной, демонстративно глядя в пол, на что-то уже решившись, и затем так же тихо сказал:

– Я же просил, чтобы этого больше не было. Я и так все подписал.

«Хорошенькая же у меня репутация, – подумал я. – Еще полицию позовет!» – и оглянулся. За дальним столиком сидела пожилая пара и весело беседовала по-итальянски. Больше в баре никого не было.

– Да я на Энгельси еду, – объяснил я, разворачиваясь обратно и закуривая. – По дороге к тебе заскочил. Так.

Беляев горько усмехнулся.

– А адрес от кого получили?

– От Колобаева. То есть от Колобаева телефон фермы с карпами. А там новый дали.

– С карасями, – поправил Беляев неожиданно.

– С какими карасями?

– Ферма с карасями. Карп – по-русски карась.

– А, – сказал я.

– От Колобаева, – повторил Вадик Беляев печально. – Значит, снова *они*.

Мне стало не по себе.

– Да нет же, чудак-человек, про тебя уже забыли. Колобаев просто говорит – будешь в Англии, заверни, посмотри, как там Вадик.

– Значит, не забыли, – покачал головой Беляев упрямо.

– У тебя прямо шпиономания какая-то, – гнул я свое. – Давай лучше еще водку-тоник.

Он стал задумчиво наливать.

– Не жалеешь водки-то. Молодец.

– Вы что-нибудь еще хотите, сэр? – спросил он вдруг твердо, глядя мне в глаза.

– Нет, – сказал я.

Беляев отошел как можно дальше и стал перетирать стаканы.

– Колька новую блядь завел, – сообщил я зачем-то.

– Красивая? – спросил Беляев, глядя в пространство.

– Нет. И старая.

– Ну ладно.

Он проведал итальянцев за столиком, а затем стал считать мелочь в кассе.

– Сколько с меня? – спросил я, поднимаясь.

– Бар платит, – отозвался Вадим Беляев.

– Ну и черт с тобой, – сказал я.

На улице моросило.

На другой день я взял машину и поехал на Энгельси – большой остров, с которого, как я слышал, и пошли друиды.

Дорога петляла по горам Сноудонии, что могло означать Снежный рассвет. Впрочем, может, это значило что-то совершенно иное по-валлийски.

Выехал я рано. Дорога была пуста. Снежный рассвет или нет, но стоял декабрь, а снега и в помине не было. Рваный туман

плыл над долинами. С пиков немеркнущими ослепительными молниями стекали ручьи или, вернее, сплошные километровые водопады. Леса стояли сумрачные и голые. Всего-то в них и было зеленого, что яркий плющ.

Я позавтракал в вагончике над обрывом. Пожилая женщина, делавшая все с натугой, через силу поджарила мне яичницу с ветчиной и налила кофе. Хлеб тоже оказался очень вкусным. Ветер то и дело распахивал дверь и хлопал ею о стены.

– Ну и погода, – сказал я.

– Это что, – хмыкнула женщина. – Вот на перевале – вот уж там бывает погода, да.

На перевале я остановился. Там лежало свинцовое озеро – не знаю, искусственное или нет. Я слышал только легкий звон в ушах, да еще как в озере чудовищно гуляла огромная рыба.

Над озером толпились скалы. Папоротник своими ржавыми скрепами держал пирамиды острых норманнских камней. Туман обтекал и меня, и пирамиды, и я был полностью уверен, что это летели напущенные на меня друидами эльфы в развевающихся легких одеждах. Эльфы заполнили весь перевал, и я чувствовал напряженное молчание их волшебного войска. Мне казалось, что я попал в самую сердцевину гигантской жемчужины Сноудонии, в пресловутый кубок метелей, выдуманный в России и осуществленный здесь. Я не мог понять, чего хотели от меня эльфы, зачем созвали свое войско, отчего трубили в трубы, почему направляли на меня свои стрелы. Я сел в машину и поехал на запад, на Энгельси, к норманнским замкам.

Только когда я спустился с перевала, мне вдруг показалось, что эльфы желали, чтобы я остался у озера навсегда.

На другой день я снова пошел в «Пиковую даму». Беляев посмотрел на меня и спросил:

– Водка-тоник?

– Ага, – сказал я.

Бар был вовсе пуст.

– Не прогоришь?

Он покачал головой:

– Не думаю.

– Слушай, – сказал я, затягиваясь сигаретой, – что бы ты ни подписывал, все равно ничего непонятно. Я просто *должен* знать, почему ты это сделал. Понимаешь – должен.

– Понимаю, – сказал Вадим Беляев.

Хлопнула дверь. В бар вошли парень с косичкой и бритая наголо девица.

– Привет, Дин, – сказал парень. – Мы чего-то тут с Энни перепутали, кто когда работает.

– Ты в субботу, а Энни в воскресенье, – объяснил Беляев. – До уикэнда я.

«Эге-ге», – подумал я и впился глазами в парня с подозрительной косичкой и в бритую девицу. Оба были увешаны металлом, оба в кожаных, мокрых от дождя куртках, обоим по двадцать с копейками, и некоторая грубая приятность в чертах.

Когда они вышли, я вздохнул:

– Прямо близнецы. С кем из них ты спишь?

– Ни с кем, – ответил Вадим Беляев.

– Ну с кем-то ты спишь?

– Сам с собой, – сказал Вадим Беляев и не покраснел.

Деньги, вырученные от продажи родительской квартиры, он вез через границу в кармане. Ферму с карасями присмотрел загодя, когда еще вертелся в Англии, готовя чей-то визит. Дом на ферме был старый, скрипящий, утлый, промокающий, караси – жадные и неуступчивые. На третий месяц они, словно сговорившись, стали дохнуть. Беляев боялся, что в воду что-то подсыпали те два русских агента, а сдать воду на анализ тоже боялся. Карасей он хоронил сотнями, в братских вонючих могилах. Потом, выбившись из сил, он перестал бояться и воду на анализ все-таки послал. Оказалось, в ней завелся какой-то банальный, но очень вредный паразит. Вадим Беляев отчаялся, ферму продал и купил бар. Жил он в маленькой квартирке наверху. Парень и девушка помогали по выходным, когда в баре бывало много народу. Никакого русского следа в названии бара не было, под таким же именем он значился и за прежним владельцем.

– На Энгельси есть пивная, в которой была штаб-квартира Кромвеля, – сказал я.

– Я не был на Энгельси.
– Но это же рядом.
– Я никуда не езжу.
– Ты бы роман что ли сел писать.
Вадим Беляев повернулся к полкам и поправил бутылки.
– Если бы ты знал, как я ненавижу бумаги, – сказал он.
– Ладно, еще один водка-тоник, и сколько с меня?
– Бар платит.
– Я не из кагэбэ.
– Я знаю, – сказал Вадик Беляев.

Как и было условлено, Колобаев встречал меня в аэропорту.
– Ну? Ну? Ну?! – затараторил он жадно. – Видел?
– Видел.
– Ну, ну, ну – что за баба?
– Какая баба?
– Ну, ну – с кем он живет? Кто его в Англию дернул?
– Баба?
– Ладно, не томи, девочка или мальчик?
– Вот тебе подарок из Англии, – сказал я и полез в сумку.
– Чего это?
– Искусственный член. Из резины.
– Член? Член? Зачем мне член из резины?
– Залезь на него, – сказал я, – и перестань, наконец, дергаться. Оставьте его в покое. Парень просто любит разливать пиво.

1995 – 1996

СТАРОСВЕТСКИЕ ИЗМЕНЩИКИ

Сначала она говорила, что нельзя разводиться, потому что у Лидочки и Вити был двадцатилетний Вадечка, что Витя, должно быть, одумается и бросит ту, другую, что надо подождать, что, цитируя Толстого (Вера Ивановна поднимала трясущийся пальчик), все образуется, что в сорок пять лет у Лидочки просто был опасный, горячий возраст – она говорила, но ничто не помогало. Лидочка начала возражать и плакать. Тогда Вера Ивановна сказала, что папе (Анатолий Семенович умер год назад неполных семидесяти лет) было бы неприятно услышать о таком, а *может быть*, и сейчас неприятно слышать. Но Лидочка возразила раздраженно, утирая ладонью слезы и смешивая их с сиреневой тушью, что после такой счастливой и спокойной жизни, какая была у них с папой, Вера Ивановна просто не может понять, что значит жить в одном доме с человеком, который время от времени обнимает другую женщину.

Только тогда Вера Ивановна все и рассказала.

Она рассказывала, сидя на веранде своего крепенького домика на склоне горы, неотрывно глядя на море, часто помаргивая напрочь выцветшими глазками, положив руки на вылакированные подлокотники плетеного кресла, утонув в нем – маленькая, но грузная и каждой клеточкой ощущающая, как прожитые семьдесят лет тянут ее вниз, даже не в ветхое сиденье кресла, а глубже – в землю, где уже год лежал Анатолий Семенович.

Сад, состарившийся вместе с Верой Ивановной, рос террасами книзу и не загораживал ни бледного моря в ситцевую рябин-

ку, ни – справа – белого города, на который Вера Ивановна время от времени переводила взгляд, но потом спохватывалась, потому что это могло показаться Лидочке «уж слишком», и снова подмаргивала морю, как немощный маленький маяк.

Тридцать пять лет назад, когда Лидочке было десять лет, Анатолий Семенович возвратился с работы, походил по дому, погладил кончиками пальцев мебель, покашлял и признался Вере Ивановне, что влюбился и что, промучившись два года, наконец месяц назад стал любовником.

Вера Ивановна, в этот момент мешавшая вишневое варенье в тазу, снимая пенку для Лидочки, охнула и прикрыла губы ладонью, как от удара.

Все еще кашляя, морщась и крутя головой, Анатолий Семенович мычал что-то про Лидочку, про дом, про привязанность к Вере Ивановне, но и про невозможность порвать с той женщиной.

«Она замужем?» – спросила Вера Ивановна.

Да, она была замужем. Больше ничего о ней Анатолий Семенович не сказал.

Молча поплакав, но не переставая мешать варенье (с тех пор она ненавидела вишневое и в гостях испуганно говорила: «Нет-нет, спасибо»), Вера Ивановна спросила в том духе, чего Анатолию Семеновичу не хватало.

Он долго мялся (ведь он говорил не с проституткой, а с женой) и наконец, покраснев и вспотев, выпалил: «Постели».

Постели! Вера Ивановна не поняла и даже покосилась на комнату, в которой стояла их никелированная кровать с шариками по бокам. Пытаясь понять, она задумалась. Она смотрела на редкое маятниковое движение ночью, как на стирку: у мужа должна быть чистая рубашка, и мужчинам это маятниковое движение зачем-то нужно. Сама она ничего не испытывала, кроме любопытства по первости, и ее удивляло, чего теперь могло не хватать мужу.

Зардевшись, она пробормотала: «Мы редко это делаем?»

Он сморщился от жалости к ней и к себе, открыл рот, но задохнулся, как рыба, и почему-то бросил зло: «Не мучай меня».

Вера Ивановна возмутилась, наговорила мужу резкостей, но из дома не выгнала, втайне от Лидочки поплакала, а потом решила, что развод будет позором для девочки (а в глубине души она думала, что это будет позором и для нее, Веры Ивановны) и надо жить с мужчиной, которой причинил ей такое страшное зло.

С этого вечера она молча, но решительно стала стелить Анатолию Семеновичу на веранде и сказала Лидочке, что папе доктор велел спать на свежем воздухе, потому что у него голова болит. Вера Ивановна машинально спрашивала себя, что будет делать, когда станет холодно и спать на веранде окажется невозможным, и соседство с мужем в постели, бывшее раньше таким же незначащим, как объятие с подушкой, теперь представлялось ей исполненным какого-то грозного и страшного смысла.

Как полагалось, она спрашивала себя, любит ли она этого ничтожного человека, и не находила в себе никакого особенного чувства и, сравнивая эту пустоту с теми радужными дождями, которые окружали ее роман с Анатолием Семеновичем двенадцать лет назад, поняла, что ответа на ее вопрос лучше не искать. Ей стало легче.

Она принялась исподтишка наблюдать за Анатолием Семеновичем. Он всегда ночевал дома, иногда отлучаясь в командировки, но такие командировки случались и раньше. Однако он стал чаще менять рубашки, и в те дни, когда он смотрел на свое отражение в зеркале, бреясь, с какой-то насмешливой удалью, Вера Ивановна понимала, что сегодня он будет встречаться со своей женщиной. В такие вечера после его возвращения она старалась незаметно, сзади, наклониться и понюхать его – и что же, иногда от него действительно шел запах духов. Когда Вера Ивановна опознала в них дорогую «Красную Москву», она дрогнула, но потом проверила свои хозяйственные записи и успокоилась: если Анатолий Семенович и делал той женщине подарки, то не из зарплат и премий. Обо всех его зарплатах и премиях Вера Ивановна знала досконально, потому что работали они вместе, рядом с домом, в поселке на склоне горы. Анатолий Семенович не мог воровать, рассуждала она, обедал он дома,

значит, откладывал копеечные командировочные. Ей стало казаться, что из командировок он действительно возвращается голодным.

Поздней осенью она сказала Анатолию Семеновичу (сам он стоически терпел увеличивающуюся стылость ночей): «Здесь холодно спать», и перевела его на общую кровать. Они спали, каждый отодвинувшись к своему краю, и когда во сне соприкасались, то, проснувшись, в перепуге отползали прочь.

В декабре у Веры Ивановны был день рождения, и Анатолий Семенович из общих денег (других не было) купил вазу из бледно-бордового стекла в горошек. Вера Ивановна смотрела на вазу с осуждением, но делать было нечего. Особенно ее раздражал легкомысленный уютный горошек.

Постепенно она свыклась со своим положением обиженной, но мудрой женщины. Она уже перестала спрашивать себя, когда Анатолий Семенович уезжал в белый город, видный с их веранды, действительно ли по делам или – к той, и когда ее поездка в белый город совпадала с поездкой Анатолия Семеновича, уже больше не шарила глазами по сторонам, с мукой выискивая его и ее, которые, по ее предположениям, должны были затаиться в какой-то непроезжей аллее. Так прошел год; Вере Ивановне шел тридцать седьмой.

Однажды ее вызвали на совещание в белый город. Она надела черное платье в смутный мелкий серебристый листок, приколола к вырезу потемневшую брошку в стеклянной пыли, обула белые узкие туфли на каблуке и взяла белую сумочку. Другого выходного наряда у Веры Ивановны не было, и она очень стеснялась сумочки, у основания которой начал рваться ремешок; она зашила его мелкими стежками, но сумочку все равно лучше было прятать.

Совещание было назначено в дореволюционном доме из неровного серого камня. Вера Ивановна очень уважала этот дом, его каменную ограду, повитую бледной глицинией, черный нахмуренный кедр у входа, потрепанные пальмы вокруг узкого цветника, крашеные, скрипящие половицы внутри, толстые, как слоновьи хоботы, деревянные перила, свободные полукруглые

окна. Мебель в доме была все такая же черно-слоновая, истертая, но вечная, и Вера Ивановна всегда с некоторым трепетом садилась за пахнущий сыростью длинный стол в зале заседаний.

В этот день делал доклад недавно назначенный в город специалист; он был в старых проволочных очках, зачесывал волосы назад и походил на худого ежа. Вера Ивановна сначала стеснялась, а потом начала спорить, вошла во вкус и даже сделала одно едкое замечание, так что все рассмеялись, и Вера Ивановна тоже слегка улыбнулась, очень довольная.

После совещания новый специалист подошел к ней и сердито заговорил о ее возражениях; он говорил солидно, а Вера Ивановна краснела, приседала и жестикулировала, как школьница в драмкружке, так что выходило совсем не по-научному, и она чувствовала это. Но, видно, в том, что она говорила, был толк, и специалист (он был винодел) повел ее в свою лабораторию и стал сердито объяснять, почему вот именно это не может быть именно так, как утверждала Вера Ивановна. Они спорили до изнеможения, а потом она нечаянно сказала что-то такое, от чего винодел хмыкнул и замолчал. Он курил толстую папиросу, пуская дым через ноздри, а Вера Ивановна вызывающе села на диван (пригласить ее сесть винодел не догадался). Потом винодел сказал сердито, что им стоит объединить усилия.

И что же, дело быстро завертелось; то он приезжал к ней в поселок, то она ездила к нему в тот дом, который так любила, и уже зимой они, наконец, поняли, отчего то выходило так, а не этак, и винодел на радостях откупорил бутылку «Пино-гри», а Вера Ивановна бестолково смеялась и взмахивала руками.

Она было дурно одета, потому что у нее не было выходного зимнего, и сейчас, когда она сидела за столом в лаборатории с виноделом, который нехотя признавал, что она, Вера Ивановна, хоть и женщина, а понимает, ей хотелось быть не только умной, но и уметь красиво оттенять свой ум, и она почему-то подумала: «Надо было купить тот шерстяной отрез с огонечками».

Было уже поздно, и все ушли домой. Тускло горели лампы; две из них были с битыми абажурами. «Ой, прелесть какая, зима, а на вас бабочка», – вдруг сказал винодел и протянул к Вере

Ивановне руку. Она вскрикнула, потому что боялась бабочек, а он сказал: «Не шевелитесь, я сейчас сниму», подсел к Вере Ивановне, крепко обнял и поцеловал. От изумления она не пошевелилась, к тому же она выпила полтора стакана вина, и сейчас в голове ее вертелось одно: «Вот тебе и бабочка!» Они сидели на черном кожаном диване, и все получилось очень быстро, но то ли от того, что Вера Ивановна давно не занималась маятниковым движением, то ли от того, что она была слегка пьяна, не то от того, что кожа винодела пахла чем-то мятным, все вышло необыкновенно хорошо.

Когда они оправились, Вера Ивановна вдруг вымолвила, пряча лицо: «А вы знаете, мне муж изменяет». И сбивчиво рассказала виноделу про Анатолия Семеновича. «Изменять такой женщине!» – возмутился винодел фальшиво, сам увидел, что вышло фальшиво, и закурил.

Вера Ивановна, трясясь в автобусе по дороге домой, удивлялась, что не испытывает раскаяния, но на кухне, столкнувшись с Анатолием Семеновичем, вдруг зарделась, как девочка. «У тебя температура!» – воскликнул он. «Простудилась немного», – ответила она тихо и внезапно с ликованием ощутила себя ровней ему. «Сейчас малины съем», – сказала она зачем-то и, спрятав лицо за дверцей шкафа, широко улыбнулась темноте и банкам.

Через неделю винодел приехал в поселок и поцеловал Веру Ивановну в ее кабинете. Она увернулась и повела его показывать культуры, которыми занималась. «Как жалко, что зима, – повторяла она, – совсем замерзли, бедные». «Совсем как вы», – сказал винодел и назначил ей свидание в своей лаборатории.

И действительно, Вера Ивановна как-то отогрелась у него. Он был женат, и встречались они только в каменном доме после шести, когда все уходили домой. Они пили чай, а вина больше не пили, потом перемещались на кожаный диван, и Вера Ивановна уже хорошо знала, как надо лечь, чтоб не попасть на выпирающую пружину. Они смеялись тишком, чтобы вахтер чего не подумал, и часто вспоминали, как он обманул ее с бабочкой в первый раз.

Всякий раз Вера Ивановна возвращалась домой как хмельная, и однажды Анатолий Иванович, который за это время слегка обнаглел, сказал: «Что-то ты в город зачастила». Она сжала губы, а утром первая обратилась к нему: «Толя, давай договоримся: будем уважать друг друга, а жизнь у каждого будет своя». Анатолий Иванович посерел, надолго замолчал, а потом сказал: «Это я виноват. Давай». И – удивительное дело, после этого постепенно они снова стали разговаривать и даже смеяться, а Лидочка, которая не понимала, отчего больше года в доме было както тускло, и сама стала тусклой, как заброшенное растение, очень обрадовалась.

Они по-прежнему спали на разных краях кровати, но теперь случайное соприкосновение во сне уже не ужасало их, они спокойно отодвигались и засыпали снова.

А потом Вера Ивановна надоела виноделу. Он стал ей грубить; после одной невыносимой грубости Вера Ивановна сказала ему: «Надеюсь, ваша жена поступит с вами так же, как я поступила со своим мужем», и прекратила всякие объятия раз и навсегда. Они еще какое-то время работали вместе, а потом работа кончилась, и они равнодушно здоровались на совещаниях, и Вера Ивановна только дивилась тому, как все проходит.

Сама того не замечая, она стала задерживать взгляд на мужчинах и однажды, когда она была в командировке в области, за ней стал ухаживать большой начальник. Он был красивый мужчина, но Вера Ивановна с сожалением отметила, что его портят короткие руки. Он пригласил ее в ресторан. В ресторане Вера Ивановна не была лет десять, волновалась и радовалась, что все же купила тот шерстяной отрез в огонечках. Начальник был очень забавный, беспрестанно шутил, а потом отпустил шофера и сам повез Веру Ивановну в горы, говоря, что она должна непременно увидеть рассвет. Однако рассвета она так и не увидела.

По дороге обратно в город начальник, подавляя зевок, спросил: «Что тебе подарить? Я хочу сделать тебе подарок». «Просто помните меня», – ответила Вера Ивановна, чувствуя себя роковой женщиной. «Конечно!» – с жаром сказал начальник, а

она потом думала, не воспользовался ли он необходимостью энергично ответить для того, чтобы скрыть еще один зевок.

Три года в ее жизни никого не было, кроме Лидочки и Анатолия Семеновича. Лидочка была уже барышней, Анатолий Семенович, видимо, расстался с той женщиной, потому что ходил какой-то потертый и забывал менять рубашки, а потом стирки снова прибавилось, и Вера Ивановна поняла, что Толя нашел себе другую.

И тут она встретила Петеньку. Петенька был монтером и приехал из белого города чинить в поселке электричество. Он все время работал на улице, и его начинавшее морщиниться лицо было смуглым. Он был так худ, что штаны с него спадали; он подтягивал их, улыбаясь своей замечательной улыбкой, обнажавшей желтые зубы заядлого курильщика. Он долго балагурил с Верой Ивановной, и запах табака, металла, масла и кожи, исходивший от него, был ей неприятен. Но он был очень веселый, такой веселый, что она хохотала до слез, а он все уговаривал ее поехать с ним рыбу ловить. «Живете у моря и никогда на лодке не катались, ну вы, женщина, меня изумляете, ведь все женщины качку любят!» – и он подмигивал ей. «А вот возьму и поеду», – вдруг сказала Вера Ивановна. «Так завтра в семь на Желтышевке», – сказал он.

Вера Ивановна надела старенькое платье, потому что, во-первых, боялась порвать или запачкать новое, а во-вторых, монтер сам был одет кое-как. Ей очень захотелось вдруг покататься на лодке – покататься на лодке и ничего больше. В самом деле, она и на море-то купаться ходила только пока Лидочка была маленькой, и почему-то ей захотелось снова увидеть воду вблизи.

Петенька испугался, когда увидел ее. Он совершенно забыл, что плел какой-то женщине, которую толком и не разглядел, и сказал вчера единственную правду – что идет на рыбалку.

Он мрачно сказал: «Ну залезайте, раз пришли», с силой оттолкнул лодку и выгреб в море. Он стеснялся раздеться при ней, ему было жарко и неприятно, и он противно молчал. Но Вера Ивановна только купала руку в воде, улыбалась зеленому морю, щурилась на горы, прикрытые дымкой зноя, как кресла чехлами, и, в сущности, ни о чем не думала.

Петенька, злясь на все на свете, закинул в воду самодур. «Ой, какие крючочки разноцветные», – только и сказала Вера Ивановна. Петенька посмотрел на нее волком. «Не будет рыбалки с вами, – заявил он. – От женщины на воде одна неприятность». Вере Ивановне не хотелось ни ругаться, ни обижаться. «Больше не поеду», – спокойно сказала она, а сама подумала, что надо будет попросить Анатолия Семеновича покатать их с Лидочкой по морю.

Рыбка тем не менее ловилась, и Вера Ивановна залюбовалась на радужную скумбрию, блиставшую, как лазурная бабочка, и гаснувшую на глазах, как экран в кино.

На берегу Петенька завернул ей в газету пять крупных рыбок: «Ваша доля». «Спасибо за труды», – сказала Вера Ивановна и поехала домой. Она зажарила скумбрию, сказав, что купила ее на базаре. Ее даже повеселило, что вот она таким необычным образом сэкономила немного денег.

А через неделю в поселке снова появился Петенька. «Как у вас тут с напряжением?» – поинтересовался он у Веры Ивановны. «А у нас тут все нормально и с напряжением, и с воспитанием», – ответила она. Петенька взбесился, прыгнул в машину и уехал.

Где-то в августе она несколько раз ходила на Желтышевку и, наконец, застала Петеньку, снаряжавшего лодку.

«А я за рыбкой пришла», – сказала Вера Ивановна. «Садитесь», – вежливо пригласил Петенька.

В этот раз они поговорили; Петенька жаловался на жену, что отбирает деньги. «Так ведь, наверно, пьете?» – спросила Вера Ивановна. «Пью», – согласился Петенька. «А почему пьете?» Петенька задумался и загрустил.

Он застенчиво разделся до черных сатиновых трусов, попросил Веру Ивановну подержать лодку и бережно нырнул в воду. Вера Ивановна забеспокоилась, но Петенька, пробыв под водой очень долго, вынырнул с большой горбатой ракушкой. «Выварю гада, чтоб не пах, – сказал он, – и вам подарю. Вот через неделю приходите на то же место».

Вера Ивановна пришла и получила большой рапан, оранжево-розовый, как персик, внутри. Она положила его на свой стол в кабинете и, когда спрашивали, говорила небрежно: «Дочка забыла, наверное», а когда никого не было, прикладывала раковину к уху и слушала глухой свистящий ночной говор моря.

В этом августе они еще несколько раз ездили рыбачить на лодке, а осенью Лидочка уехала в институт, и вечера Веры Ивановны сделались совершенно пусты и свободны, и, как того давно добивался Петенька, она пошла с ним после наступления темноты на виноградник. Было тепло, трава кололась, пели цикады, и запах табака, металла и промасленной кожи, исходивший от Петеньки, уже не показался ей противным.

Зимой они – опять же вечерами – гуляли в парках; Вера Ивановна заставила смущавшегося Петеньку отдать ей худые носки и рваные рубашки и все заштопала. Она даже пекла пирожки, и едва не плакала, глядя, как он, давясь от жадности и смущения, пожирал их на скамейке. Петенькина жена казалась ей по рассказам каким-то чудовищем. Впрочем, в отличие от нее Вера Ивановна ни разу не видела Петеньку пьяным, только ругала за гадкий запах от вчерашнего безобразия. А летом они снова уезжали в море, и Петенька сидел у Веры Ивановны в ногах и иногда плакал от счастья.

Так прошло семнадцать лет. Лидочкиному сыну, любимому внуку Вадичке, было уже десять. У Петеньки открылся рак. В больницу к нему ходить было неудобно, и они условились, что Вера Ивановна будет только гулять под окнами, а он – махать ей рукой из коридора. Еще она приносила ему обильные передачи, впервые в жизни готовя на него как на мужа. Жену его она никогда не видела, хотя та и приезжала к нему в больницу через два дня на третий.

Петеньку прооперировали. Два раза они встречались на скамеечке в парке, и Вера Ивановна говорила ему, что после операции он и должен чувствовать себя хуже. А на третий раз Петенька в парк не пришел.

Самое трудное было в день петенькиных похорон. Вера Ивановна узнала о назначенном дне по телефону, на станции, где

Петенька работал. Она долго выбирала, где ей стать. Наконец, определила место на площади перед станцией, мимо которой Петеньку неминуемо должны были проносить. Надо было стать так, чтоб ее никто случайно не заметил, а если бы и заметил, то чтоб ничего такого не подумал, но чтоб она все-таки увидела Петеньку в гробу. Она решила, что станет на крыльце молочного магазина. Она подгадала время к самым похоронам и расплатилась с кассиршей как раз, когда заслышался заунывный, страшный вой духового оркестра. Она поспешила на крыльцо. Там уже стояла какая-то женщина, с жадным ужасом присматривавшаяся к ходу. Вера Ивановна что есть сил сжимала ручку сетки с кефиром и смотрела на шевелящуюся толпу, которая почему-то напомнила ей кошмарного червя.

Впереди тучный мужчина, морщась от натуги, нес на голове красную крышку гроба, за ним двое молодых ребят с поглупевшими от торжественности лицами несли венки. «Два веночка-то всего», – нараспев сказала женщина, стоявшая рядом с ней. А дальше – дальше над толпой, на чьих-то жарких плечах, плыл Петенька, ушедший в гроб так, что всего-то и видно было, что кончик носа, скат лба, седой венчик и острые ступни, накрытые красным. Вера Ивановна знала: вот сейчас-то как раз и надо прощаться, но смешалась, потому что колышущийся червь толпы, красный цвет гроба и режущая не сердце, а уши музыка с ее безобразным заунывным распевом отвлекали ее. И только когда похороны пошли в гору, и Петенька немножко съехал вниз в гробу, она наконец увидела какие-то смешанные гипсовые складки там, где полагалось быть его лицу.

«Ой, миленькая, – сказала ей женщина, – кефирчик-то пролился!» Вера Ивановна рассеянно посмотрела вниз и увидела, что кефир действительно пролился, запачкав сумку и платье. Не отирая ни того, ни другого, она пошла прямой дорогой куда-то в парк, села на скамейку, закрыла лицо руками и так плакала, плакала.

Поэтому когда через восемь лет после этого в больнице умирал Анатолий Семенович, и женщина позвонила ей домой и стала, запинаясь, рыдать в трубку, Вера Ивановна решительно

сказала: «Он в шестой палате. Ходите к нему по нечетным дням, – и прибавила дрогнувшим голосом: И на похороны приходите». В горле задрожал комок, потому что все смешалось: и гипсовые черты Петеньки, и умирающий Анатолий Семенович, и ее собственный скорый одинокий конец.

На похоронах женщина держалась хорошо, стояла в стороне, и Вера Ивановна ей даже покивала сквозь слезы.

Все это она и рассказала Лидочке на веранде своего крепенького дома, на которой Анатолий Семенович проспал тридцать пять лет назад все лето и половину осени. Рассказывала монотонно, стараясь не отрывать глаз от моря, потому что если смотреть на белый город, то отсюда был виден холм с кладбищем, на котором, недалеко друг от друга в кипарисовой роще лежали и Петенька, и Анатолий Семенович, и даже винодел. Вера Ивановна все хотела сказать Лидочке, что вот, уже поздно что-то делать для тех, кто лежит в кипарисовой роще, но что дорога к роще очень длинная и на ней бывает столько всего, что не объять ни умом, ни сердцем, и что не надо слушать умных подруг, не надо размазывать слезы перед старухой-матерью, а надо делать что-то совсем иное. Хотела сказать – но не сказала, потому что не подобрала слов.

Лидочка удивленно выслушала ее, вздохнула, закурила, отметила про себя, что все это не имеет к ней никакого отношения, но обещала подумать. Однако к Новому году она все равно развелась и тут же уехала по путевке в Польшу, оттого что жизнь проходила мимо и нужно было встряхнуться; Вадечка уехал на студенческие каникулы, и поэтому в Москве никого не было дома, когда пришла телеграмма, и на кладбище Веру Ивановну никто из родных не провожал. Впрочем, деньги на похороны она оставила под ракушкой, которую ей вечность назад с самого дна моря достал Петенька, поэтому шевелящемуся провожальному червю хватило и на венки, и на музыку.

1994

БОГАТЫЕ СЮЖЕТЫ КОНСТАНТИНА ПЛЕШАКОВА

Случись несведущему читателю раскрыть эту книгу, уже на второй странице он, скорее всего, будет если не ошарашен, то озадачен, узнав, что у писателя Башкатова, героя рассказа «Певец» (к писателю Башкатову мы еще даже и не знаем, как отнестись – больно все быстро начинается) «в жизни нет и в принципе не осталось ничего, кроме дорогих вещей, быстрой езды, легкого хмеля и мокрых мужских затылков».

Этот легкий штрих, как бы случайно вброшенный в разгоняющееся повествование, обещающее обернуться то ли детективом, то ли сатирой, на деле важный предупредительный сигнал: мы вступаем на преимущественно мужскую территорию. Впрочем, если читатель не ужаснется до такой степени, что сразу припрячет книжку подальше от женских глаз, он вскоре убедится, что художественная территория Константина Плешакова значительно шире.

Если говорить о конкретной географии сюжетов, то они разбросаны по свету, и, по-видимому, отражают реальный опыт непоседливого автора – Москва и Нью-Йорк, Европа и Крым, Кавказ и Пуэрто-Рико; что до географии психологической, то перед нами прежде всего – архипелаг новой России с его амплитудой ценностей, покрывающей не слишком обширное пространство между жесткостью и жестокостью, где, кажется, каждый – остров, и актуальность не потеряли только три достаточно несложных эмоциональных импульса: власть – страсть – месть («Три ошибки Ольги Ритц»).

Однако физическое и психологическое пространство прозы Плешакова не тождественно саркастической летописи новейшего времени. Его герои – не двухмерные «знаки», а живые люди с неизбежным психологическим багажом огромной нации, пытающиеся найти себя в сумбуре истории и сталкивающиеся с неразрешимыми проблемами как общесоциального, как и индивидуально-психологического уровней.

На этом втором уровне Плешаков приоткрывает и вообще не слишком исхоженый, а для русской словесности вовсе неведомый мир чисто мужской сексуальности – мир мужчин без женщин, и не только в хемингуэевском смысле. Тема эта весьма трудна для «магистрального» литературного освоения: речь идет о нравах и обычаях заведомого меньшинства – по строгим подсчетам, пятипроцентного, – жизнь которого мало кого оставляет равнодушным. Здесь, впрочем, уместно вспомнить фразу из военного фильма нашего детства, когда герой-матрос перед каким-то заведомо безнадежным заданием, гордо говорит: «Нас мало, но мы – в тельняшках!» Кто же эти мы, и какие на нас тельняшки?

Называют нас в разных странах по-разному, как правило – не слишком лестно. Мы – нарушители существенной популяционной модели поведения. Мы называем себя тоже по-разному: в Америке мы – «веселые», в Германии – «знойные», в России – «голубые». Однако неслучайно в Америке эмблемой этого сегмента общества стала радуга: здесь представлены все цвета кожи, все расы, все языки; это, так сказать, нация, не знающая границ. Пока ученые пытаются вникнуть в суть биологических вариаций, мы по-разному пытаемся осознать себя такими как мы есть, не слишком увязая в причинно-следственном звене. Вероятно, наиболее ценный способ такого осознания и познания – художественный, предполагающий реальный контекст, реальное окружение и вполне конкретные психологические личностные черты персонажей. Именно таким художественным методом и пользуется Константин Плешаков. Из дюжины рассказов, собранных здесь, половина так или иначе касается этой темы. Надо сказать, что задача, которую он в этом смысле себе ставит – трудна еще и потому, что в русской словесности опереться здесь не на кого: два приходящих на ум автора – Михаил Кузмин и Евгений Харитонов – оставили бесценное наследство, но не школу.

Мне кажется, что Плешакову в этих рассказах удалось запечатлеть некий определяющий феномен, который можно было бы, несколько наукообразно, назвать, скажем, мужской грави-

тацией. Это взаимное притяжение существует на разных уровнях и, разумеется, знакомо очень многим представителям «сильного» пола; оно не тождественно прямому и четко осознанному сексуальному влечению, и однако именно оно отличает представителей «радужного» меньшинства, как себя к нему без обиняков причисляющих, так и с излишне многочисленными доводами от него открещивающихся.

Вероятно, самый внятный график этой гравитации – в лаконичном и страшном рассказе «Прыжок за вами»: героический самоубийственный жест капитана Михайлова, мстящего за гибель юного солдатика самодовольному генералу, есть непредсказуемый, оборачивающийся взрывом эффект этой гравитации, не осознанной до конца ни одним из ее носителей, и лишь своей интенсивностью выдающий подспудный эротический характер ее природы.

Эта сила притяжения не знает препятствий, и сопротивление ей бывает гибельно. В замечательном рассказе «Богатый сюжет», по причинам внелитературным в данную книгу не вошедшем, где автор для максимальной беспристрастности поручает повествование одному из действующих лиц, это притяжение бросает друг к другу в знойный летний московский день двух, в общем, ничего такого за собой не подозревающих молодых людей, к тому же связанных условными узами родства через жену одного из них. Опыт этот кончается трагически для младшего партнера, не имеющего в запасе никаких средств, чтобы справиться с этой внезапно возникшей, как бы на ровном месте, стихийной силой.

Еще один вариант, лишь на первый взгляд менее опасный, отражен в опыте Иртыша – героя одноименного рассказа, чей путь от нереализованной мужской сексуальности к вооруженному насилию в рамках «благородной» национальной идеи кое-что проясняет в картине новой России. Что подобная модель – трансформация подавленного сексуального импульса в насилие – актуальна не только применительно к неукротимому южному темпераменту, легко понять, вспомнив историю поначалу даже чрезмерно цивилизованного французского юноши, героя рассказа Жана-Поля Сартра «Детство вожака».

Следует отметить, что направляя внимание на такую, в общем, чреватую легкой сенсационностью область, как чисто мужские физические отношения, казалось бы, уже по самой своей сути определяющиеся началом чувственным, то есть сексом в чистом виде, Плешаков соблюдает редкостное в наши дни целомудрие – в отличие от, скажем, своего юного коллеги Ярослава Могутина, исследующего тему мужских отношений как раз через увеличительную оптику, регистрирующую в большей степени шоковые подробности, нежели психологические барьеры. Плешакову в том же, «Богатом сюжете», медленно набирающем ход, но по мере приближения к развязке катастрофической пружиной раскручивающемся, достаточно написать фразу «После этой ночи запретов больше не существовало», чтобы дать исчерпывающее оповещение о физической реальности отношений двух героев.

Но Плешаков – автор далеко не одной темы, не «деревенщик» с необычной ориентацией. Его вообще интересует подспудная сторона вещей – когда все на деле оборачивается чем-то иным, чем кажется поверхностному наблюдателю. Это может быть внезапный финальный виток сюжета, как в рассказах «Прыжок за вами», «Три ошибки Ольги Ритц» и «Певец», или неожиданный оборот персонажа – незадачливого отшельника из «Фермы с карасями», бандита Феликса из «Шереметьево-2» или монстра-дегенерата Шерпы, чья сексуальная метаморфоза и предопределяет развязку «Певца».

Особая нота звучит в рассказе «Мертвая голова», интересном не столько тем, что здесь перед нами вновь действует закон мужской гравитации, сколько выявлением явственно амбивалентных, типа «палач – жертва» с постоянной переменой мест слагаемых, взаимоотношений между русским и немецким героями. Эту тему можно было бы счесть случайной, возникшей лишь благодаря реальному прототипу, чей череп напомнил рассказчику эсэсовскую эмблему, если бы не ее созвучие таким далеким от Плешакова по литературным маршрутам авторам, как Виктор Сорокин с его «Отпуском в Дахау» или уже упоминавшийся Ярослав Могутин в его (пока неопубликованном) «Рома-

не с немцем». Легко предположить, что эти художники расслышали в так называемсм национальном коллективном подсознании неизжитую память об унижении, старательно в течение десятилетий вытеснявшуюся официальными гимнами победы над национал-социализмом. Это – еще одна неочевидная черта новой действительности, запечатленная Плешаковым.

Все эти открытия неочевидного, разумеется, представляют интерес далеко не только социо-психологический: мы имеем дело прежде всего с подлинной художественной прозой. Плешаков уверенно продолжает традицию русского рассказа, свободно чувствует себя и в «чеховской» стилизации «Диониса», где врач-приспособленец успешно и без потерь уносит ноги из уходящего в тартарары Белого Крыма, и в самом злободневном повествовательном потоке «Певца», и в полуфантастической лирике рассказа «Nadine» с его экзотической героиней – своего рода символом манящей женственности, не терпящей чрезмерного приближения.

Стилистически Плешаков, как правило, держит свое перо (клавиатуру?) в узде; в этом смысле он. несомненно, проделал большой путь, если вести отсчет от его первого, чрезвычайно интересного по замыслу исторического романа «Физика» (1992), смысл которого – невозможность благого применения сил в хаосе переломных часов истории – был несколько затемнен перегруженной стилистикой повествования, вызывавшей ассоциации с прозой Белого или Пильняка. Его новые рассказы демонстрируют насыщенную, свободную, но нигде не выходящую из-под контроля речь; лишь иногда, как бы повинуясь стихийному напору фантазии, писатель вовлекается в словесные водовороты и завихрения, переводящие повествование в поэтический регистр, нанизывающие, наращивающие гирлянды образов, – но, как бы ощущая чрезмерность высказанного, автор ироническим окликом возвращает словесный поток в задуманное русло.

Важная деталь прозы Плешакова – так называемые «второстепенные» персонажи, нередко данные двумя–тремя штрихами, но прочно остающиеся в читательской памяти: мама писа-

теля Башкатова – единственный вызывающий безоговорочную симпатию человек в разноликой галерее «Певца»; пара студентов с простыми фамилиями Малшевич и Дрозд, обретшие друг друга на военных сборах («Месяц. Полигон»); соломенная невеста Иртыша Гуля с ее абсурдной арфой в московской коммунальной квартире и, конечно, монтер Петенька, так неожиданно наполнивший счастьем жизнь ученой Веры Ивановны («Старосветские изменщики»).

Этот замыкающий сборник рассказ заслуживает отдельного упоминания: стоящие как бы над временем, то есть не несущие в себе ни сенсационных, ни «революционных» примет, «Старосветские изменщики» это, конечно, еще одно лукавое напоминание о том, что в жизни все не совсем так, как кажется, и о том, что жизнь всегда продолжается, и что в ней всегда находится место для человеческого тепла, даже если оно, как мы сами, конечно. После многообразного драматизма предшествующих сюжетов эта неожиданно спокойная, с легким оттенком ностальгии, мелодия, как будто приходящая из вечно возвращающегося прошлого, своеобразным пунктиром связывает сегодняшнюю Россию с Россией всегдашней – вчерашней и будущей.

Александр Сумеркин, Нью-Йорк

СОДЕРЖАНИЕ

Певец /5
Три ошибки Ольги Ритц /24
Мертвая голова /39
Дионис /52
Иртыш /71
Без тебя /87
Прыжок за вами /119
Месяц. Полигон /127
Nadine /136
Шереметьево-2 /146
Ферма с карасями /153
Старосветские изменщики /164

Александр Сумеркин.
Богатые сюжеты Константина Плешакова /176

Литературно-художественное издание

Плешаков Константин Викторович

ФЕРМА С КАРАСЯМИ

Редакторы: *Э.К.Биленко, Р.М.Ваничкина*
Оформление: *А.Рыбаков*

Подписано в печать с оригинала-макета 16.04.98
Формат 60x84/16 Бумага офсетная Гарнитура «Times»
Усл. печ. л. 11 Уч.-изд. л. 9
Тираж 1000 экз. Заказ 107

Издательство «Глагол»
Типография ЦНИИ «Электроника»,
117415, Москва, просп. Вернадского, д. 39

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА “ГЛАГОЛ”

БОЛДУИН, Д.: Комната Джованни (15)
БЕК, Т.: Облака Сквозь Деревья (33)
БУКОВСКИ, Ч.: Истории Обыкновенного Безумия (24)
БЕРРОУЗ, У.: Голый Завтрак (20)
ВОЛОХОВ, М.: Игра в Жмурики (26)
ВОЛОХОВ, М.: Великий Утешитель (32)
ГАЛИЧ, А.: Я Выбираю Свободу (3)
ЛИМОНОВ, Э.: Это Я - Эдичка (2)
ЛИМОНОВ, Э.: Исчезновение Варваров (9)
ЛИМОНОВ, Э.: Дневник Неудачника (13)
ЛИМОНОВ, Э.: Палач (16)
ЛИМОНОВ, Э.: Молодой Негодяй (19)
ЛИМОНОВ, Э.: Подросток Савенко (18)
ЛИМОНОВ, Э.: У Нас Была Великая Эпоха (18)
ЛИМОНОВ, Э.: Мой Отрицательный Герой (31)
Шарлотта фон МАЛЬСДОРФ: Я Сам Себе Жена (40)
МЕДВЕДЕВА, Н.: Отель Калифорния (7)
МЕЖИРОВ, А.: Поземка (34)
ПОЗНАНСКИЙ, А.: Самоубийство Чайковского (17)
САДУР, Н.: Ведьмины Слезки (28)
СОКОЛОВ, С.: Палисандрия (6)
ХАРМС, Д.: Горло Бредит Бритвою (4)
ХАРИТОНОВ, Е.: Слезы на Цветах, в 2-х томах (10)
ШАМИР, И.: Потаенные Прелести Планеты Земля (11)
ШАРАНДАК, Н.: Это Прелестное Искусство (36)
ШАТАЛОВ, А.: Другая Жизнь (30)
ШАТАЛОВ, А.: JFK Airport (35)

Константин Плешаков родился в Ялте в 1959 году. Окончил МГУ. Доктор политических наук. В 1996 стал лауреатом канадской Lionel Gelber Prize (Торонто) за лучшую книгу по истории дипломатии. В 1997 удостоен премии журнала «Дружба народов» за лучший рассказ года. Автор романа «Физика» (1992). Новую книгу составили избранные рассказы писателя, объединенные любовной темой. Герои автора — люди эмоциональной и напряженной личной жизни, болезненно переносящие дисгармоничные отношения с окружающими. Несмотря на кажущуюся активность, они бывают рефлексивны и нередко оказываются жертвами ситуации. Некоторые из вошедших в книгу рассказов публиковались в журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Новый журнал» (Нью-Йорк), альманахе «Портфель» (Ардис), газете «Іностранец».

«В нашей литературной смеси французского с нижегородским Плешаков, может быть, единственный европеец.»

Алла Марченко

«Константин Плешаков — новое имя в современной русской литературе. Проза Плешакова немного иронична, отчасти напоминает бурлеск и очень «вкусна».

«Дружба народов»

ГЛАГОЛ